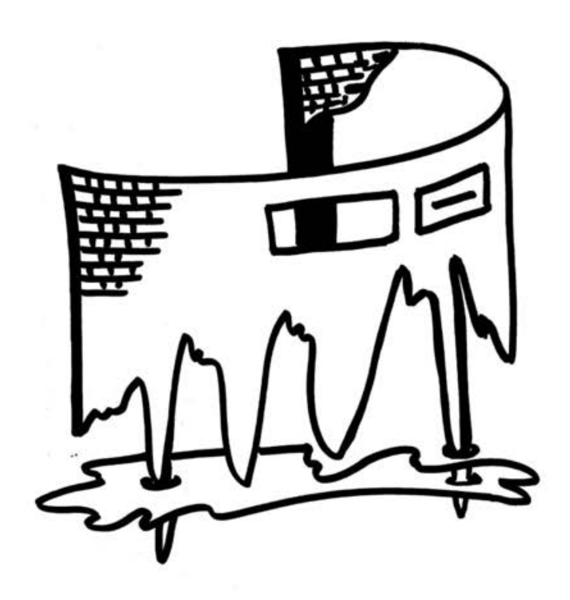
eISSN 2592-916X
ISSN 2592-9232



Brīvās Universitātes Žurnāls • Журнал Свободного университета
Free University Journal 2023 #5 (4)

Мир и война. Двойная оптика





freeuniversity.education • freeuniversity.pubpub.org

ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ • PALLADIUM • ПАЛЛАДИУМ
2023 #5 (4)

Мир и война. Двойная оптика

Brīvās Universitātes Žurnāls
Журнал Свободного университета
Free University Journal



Παλλάδιον • Палладиум • Palladium

Brīvās Universitātes Žurnāls • Журнал Свободного университета •
Free University Journal

eISSN 2592-916X • ISSN 2592-9232 • DOI: 10.55167/82c438e14763

2023 #5 (4) «Мир и война. Двойная оптика»
DOI: 10.55167/229425890b61

Главный редактор журнала Илья Шаблинский

Редактор-составитель номера Екатерина Марголис

Рисунок на обложке Марина Садомская

Ответственный за выпуск Владимир Харитонов

Редактор Инна Харитонова

Свободный Университет
freeuniversity.education

Издательство Свободного Университета
freeuniversity.pubpub.org

В издательстве Свободного университета вышли в свет книги:

• Елена Лукьянова «Конституционные риски 2»

• Елена Лукьянова, Илья Шаблинский
«Авторитаризм и демократия» (2-е изд.)

• Ольга Крокинская «Жизненный мир за закрытой дверью:
Университет на карантине и в дистанте»

• Елена Лукьянова, Евгений Порошин
(при участии Андроника Арутюнова, Сергея Шпилькина
и Екатерины Зворыкиной) «Выборы строгого режима»

• Анатолий Кононов «Особое мнение судьи Кононова»

• А также четыре номера журнала «Palladium»:
#1 «Город как текст»
#2 «Современные угрозы свободе»
#3 «Социология войны»
#4 «Ролан Барт и культура демократического общества»

Содержание

Нынешний выпуск журнала ПАЛЛАДИУМ Свободного Университета — это совместный проект студентов медиашколы, цеха филологии и наук о культуре, профессоров Свободного университета и отдельных авторов.

Мы все живем в разных городах, но нас объединяет одно время — время войны.

Возраст и опыт тут не имеет значения. Никто из нас не готовился жить на фоне войны, а тем более внутри нее. И тем важнее наша внутренняя работа по ее фиксации, осмыслению через призму нашей повседневности, профессиональных занятий и личных биографий. Тем важнее искать язык для этой реальности.

> «…Обозначить ад — это, конечно, еще не значит сказать нам, как вызволить людей из ада, как притушить адское пламя. Но уже то хорошо, что признано, что нам дано яснее почувствовать, сколько страданий причиняет человеческое зло в мире, который мы делим с другими. Кто вечно удивляется человеческой испорченности, кто продолжает испытывать разочарование (и даже не хочет верить своим глазам), столкнувшись с примерами того, какие отвратительные жестокости способны творить люди над другими людьми, — тот в моральном и психологическом отношении еще не стал взрослым. После определенного возраста никто не имеет права на такую наивность, на такое легкомыслие, невежество или беспамятство» (Сюзан Зонтаг)

Пора взрослеть.

Екатерина Марголис, составитель номера

Маргиналии

Альманах курса
«Описание очевидного»
студентов медиашколы
Свободного университета

Держи слова остриём
от себя.

Взгляд и взгляды

«Высшая мечта писателя: превратить читателя в зрителя» (В. Набоков). Высшее мастерство журналиста — стать глазами читателя. Максимально прозрачным, достоверным и точным оптическим прибором, который при этом работает словами.

Курс «Описание очевидного» по замыслу должен был включать в себя различные аспекты литературного и словесного описания того, что видят наши глаза: то есть, оче-видного. Важное место в курсе должны были занимать чтение и анализ произведений классической и современной литературы с фокусом на изобразительное искусство и на экфрасис. Идея была в том, чтобы знакомясь с литературными техниками и приёмами, позволяющими читателю стать зрителями и свидетелями описанного, учиться «писать с натуры».

Таким я представляла этот курс, когда задумывала его ровно год назад.
Но история распорядилась иначе. Все мы, и студенты, и преподаватели, оказались свидетелями и современниками, а некоторые даже и участниками, драматического поворота истории под названием «война». Нападение РФ на Украину и реалии этой идущей на наших глазах (!) войны заставили радикально пересмотреть многое. Взгляд определяет взгляды. Мы все, участники событий по обе стороны экрана, оказались заложниками не только своего времени, но и своего языка, который (по недоказанной, впрочем, и сильно критикуемой ныне гипотезе Сепира-Уорфа), который, определяет наше восприятие даже, казалось бы, очевидного.

Писать сейчас по-русски непросто и требует особой ответственности и требовательности к себе, пересмотра привычных установок, нового взгляда на собственную культурную традицию. Антивоенный сборник студенческих эссе нашего курса «Описание очевидного» — плод совместной и при этом глубоко личной работы молодых талантливых авторок, живущих в разных странах (или же вынужденных туда переехать, а иногда и бежать).

Эти тексты — не просто исследования и размышления молодых людей о войне, эпохе и об отражении видимого в словах. Это поступок — смотреть, не отводя глаз. Перед нами документы драматического внутреннего пути, свидетельства, рефлексии, поиск новой оптики и нового языка в том мире, в котором мы все оказались после 24 февраля. И читая эти яркие, смелые тексты, я восхищаюсь авторами и верю, что эта оптика и язык будут найдены. И что будущее слов в надёжных и смелых руках. Недаром эпиграфом сборника стала цитата из одного из эссе: «Держи слова остриём от себя».

К.Марголис

Я — цветная маргиналия на полях.

Я мог бы быть нарисован тем францисканцем в бурой рясе, опоясанной верёвкой, в перерывах между работой над листом четырнадцать и листом пятнадцать манускрипта, повествующего о его путешествии к монголам. А может меня нарисовал кто-то из его собратьев, или кто-то из другого ордена, другой религии и другого времени, может быть он вообще был человек нерелигиозный. Возможно, меня нарисовал сам господь бог насмешник. Ведь если земля, люди, все твари и даже гончарное мастерство — Его рук дело, то насмешничество и изобразительное искусство наверняка тоже.

Я — маргиналия на полях, а значит, ничего особо не значу. Наверное, какой-то смысл во мне и есть, но от меня он остаётся сокрыт. Примерно так же остаётся сокрыт от меня и смысл тех важных истин, что красиво каллиграфически выведены рядышком. То самое произведение, на чьих полях я существую, и есть в первую очередь об этих важных истинах, в том числе об истине номер один и истине номер два, в расстоянии между которыми я практически умещаюсь.

Я нарисована на желтеющем белом, и это с одинаковым успех
быть и пергамент, и современная бумага — она тоже прекрас
ет, если носить её долго с собой по военным кораблям и след
изоляторам.

Во мне точно есть красный — такой же, каким начерчены заглавные буквы каждого листа книги об истинах. Я бы хотел, чтобы мой красный был замешан из ирландского пурпура, но скорее это банальное соединение стружек, уксуса и аравийской камеди. Конечно, во мне не обошлось без установочного чёрного — он одинаково подходит как для книг об истинах, так и для маргиналий.

Судя по всему, я должен изображать некое существо. С нами, маргиналиями, всегда такая проблема, что с трудом понятно не только для чего мы, но и вообще что мы из себя представляем. Может быть, я кролик с зубами тигра? Или что-то неприличное? Временами, безусловно, все мы — даже мой автор — что-то неприличное. Может, я олицетворяю насмешку над социально-экономически-политическим строем, характерным для Франции XII века? Или я просто зарубка на дереве, под которым кто-то отдыхал между истиной номер один и истиной номер два?

Удел маргиналии — быть неясной, сомнительной и обречённой. Удел маргиналии — жить в перевёрнутом мире, в тенях от каллиграфии книг об истинах, и пялиться бесконечно туда, куда тебя нарисовали.

И без конца думать — ну вот и зачем?

Всё самое интересное невозможно выразить словами. Как описать секундный флешбек, переносящий меня в какое-то давно ушедшее время моей жизни? Вот я иду, иду по ярко освещённой улице в красивый весенний день. Свет (не)определённым образом преломляется в моих глазах, падает с какой-то (не)правильной стороны, греет с (не) необходимой интенсивностью, и вот я на долю мига — это уже не я, 29-летняя Саша Агузарова, а девочка из невообразимого, невыносимого, невозможного прошлого. Моего же. Или ничьего, потому что не существующего более. А может быть, никогда и не существовавшего.

Одна крупица мига — и день потерян. Я больше не могу заниматься привычными делами. Как завороженная бессмысленно и безуспешно пытаюсь вызвать в себе это ощущение и его ухватить, чтобы прочувствовать до конца и до конца выразить. Невозможное.

Помню, мне лет 5. Мы едем в чьей-то ржавой пропахшей бензином машине в Дигору. Я, мама и брат. Я прилипла к окну лбом, оно приятно холодит. Пытаюсь в мельчайших подробностях запомнить пейзаж. Для чего? Я не знаю.

Потому что этого дня, этого света, этого холодного окна в вонючей дребезжащей машине больше никогда не будет. Будет что-то страшное, что заставит меня искать в этом моменте утешение. Я чувствую это, но не могу сказать.

А ещё, а ещё. Мне меньше трёх, и я не сплю. Мама шепчет мне на ухо в тёмной однушке на окраине города. Засыпай, малышка, засыпай. Поднимаю голову и замираю. В окне силуэт, он злой, он похож на чёрта. Было это или этого не было?

А вот что было точно. Мы с братом играем во дворе, мне около шести. Подходит мама. Брат спрашивает её, что такое фонтан. Мама удивляется, начинает объяснять — ну, фонтан, ты же знаешь, это когда вода… Мама не понимает, а я уверена — брат спрашивал другое. Он хотел знать, что такое слово «фонтан», а не предмет «фонтан». Объяснить этого я не смогла тогда, и сейчас не могу это сделать с достаточной убедительностью.

И ещё сны. Например, когда летишь, летишь, но будто бы идёшь или плывёшь, только по воздуху. Или комната — это одновременно дом и лес. Или незнакомый человек вдруг оказывается кем-то родным. Как рассказать об этом?

Любое слово описывает общий опыт, для того оно и рождено — что-бы сказать другому то, что знакомо нам двоим. Это красное, оно и для меня, и для тебя красное. А это больно для тебя и для меня. Но оттенок той самой красноты или боли, доступный только моему глазу или телу, я никогда не выражу в полной мере. Для этого придумали смешное слово *квалиа*.

Или стихи. Почему стихотворение Владимира Гандельсмана «когда из двух углов, из двух углов…» так гипнотизирует меня, хотя я совершенно не понимаю, про что оно?

Джон Китс оставил нам метафоричную загадку, имя которой «Negative capability». Разгадать её можно через безмятежное отвлечение.

«Негативная способность» — это умение абстрагироваться от рационального и оставлять привычный ход жизни без максималисткого вторжения. Это о поверхностном и наглядном — вещах и смыслах, которые нам естественны. Чтобы ощутить «Negative capability», необязательно вдаваться в подробности и сложные причинно-следственные связи. Важно наслаждаться прелестью момента, но не искать причину его наступления.

В моей жизни «негативная способность» находит отражение в ежедневной рефлексии. Вечером я задумываюсь о том, как прошёл мой день. Зачастую я сталкиваюсь с непредвиденными обстоятельствами, которые меняют мои планы, и день проходит совершенно не так, как мне бы хотелось. Где же здесь «Negative capability»? Я не могу знать, почему так происходит. Мне неподвластны судьбы других людей, я не умею читать их мысли. Именно поэтому моя задача — находить счастливые моменты в череде событий и наслаждаться ими.

Здесь уместно вспомнить стоиков: не стоит беспокоиться о том, что мы не в силах изменить. Я полагаю, что суть «негативной способности» скрывается в признании самому себе, что мы чего-то не понимаем, но искренне это созерцаем.

А что, если я - Россия.

У меня нет идентичности. Я отрицаю части себя, я ненавижу части себя, я превозношу части себя.

Я - лимита без московской прописки, из посёлка без улиц, из “повтори, как?”.

Я - москвичка, поражающаяся, если метро не до часу ночи, ни разу не приблизившаяся к мавзолею.

Я - мегаполис, где не подходят к глазку и не берут незнакомые номера.

И я - деревня под Петропавловском-Камчатским, где двери не запираются даже на ночь.

Я чеченка для чеченцев. Если нужна жена или подтанцовка. Если не открывать рта.

Я еврейка для репатриации, для антисемитизма. Еврейка по волосам на лобке.

Я не знаю ни языков, ни культур.

Я - многонациональная Россия. Жаждущая сепаратизма, трусящаяся перед самой собой. Гуля(ю)щая через страну и пол города. Я напялила новую этику перед свиданием, чтоб получить свой секс.

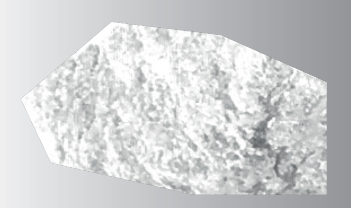
Я - пиздец. Я - Россия.

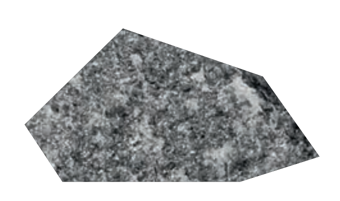
Надгробия не часто становятся предметом внимания искусствоведов. Работа молодой художницы К.К. «Sorrow» - уникальный случай. Созданная в 2013 году, она предназначалась для Н-ской биеннале, но волей судьбы оказалась на кладбище С. Такое решение приняла сама автор работы, так как в тот же год за короткий период потеряла двух близких. Она отказалась от участия в выставке и несколько месяцев жила в палатке рядом с кладбищем, заканчивая работу.

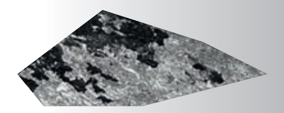
Скульптура «Sorrow» будто пропитана скорбью по утрате, хотя и начата задолго до трагедии. О том периоде К. писала:

«Чувствую себя так, словно потеряла самое дорогое, что у меня было. Осталась только работа, в которую я вкладываю всю боль. Предчувствую надвигающуюся беду, но не могу понять, откуда она придет и когда».

Внешний вид скульптуры производит тяжелое впечатление. На невысоком пьедестале лежит обнаженное человеческое тело из нежно-персикового мрамора. Пол и возраст человека невозможно определить. Тем не менее фигура выглядит реалистичной, почти что живой. Голова слегка запрокинута, лицо искажено страданием. Глаза крепко зажмурены, а рот приоткрыт будто в стоне боли. В уголках глаз видны едва начавшие собираться слезы. Руки и ноги в распростерты в бессилии, пальцы впиваются в пьедестал. Фигура словно истощена борьбой и вот-вот сдастся под натиском внезапно обрушившейся на нее тяжести. Поражает то, как мастер владеет материалом, с какой легкостью превращает мрамор в пластичный инструмент.







Сверху на человеческой фигуре лежит простой неотесанный камень. Интересна история появления этого камня в руках скульптура. Он вывезен в Н-ск из родного дома К.К. В дневниках ее матери, которые та вела с 10 лет, читаем: «Вечером залезла на камень в кухне и смотрела в окно на то, как падает снег. Прижалась к батарее и грела колени. Мама в это время пекла пироги». К. рассказывала, что в кухне дома, построенного ее дедом, под окном, ведущим в сад, из-под пола торчал огромный камень. Во время строительства дед художницы не смог его извлечь из земли. Мать К., а позже и сама художница любили стоять на нем и смотреть на сад через окно. Именно этот камень стал частью скульптуры «Sorrow». Его грубость и неотесанность резко контрастирует с благородством мрамора, подчеркивает нежность и уязвимость фигуры.

«Sorrow» не похожа на предшествующие ей светлые образы автора. Скульптура открывает новый этап в творчестве К. и является вершиной ее «мрачного цикла». Как писал немецкий историк искусства Б. фон О., «Эта работа К. — плач по ушедшему и боль от рождения нового. Она надолго войдет в канон погребального искусства».

«Сад земных наслаждений»
— триптих Иеронима Босха

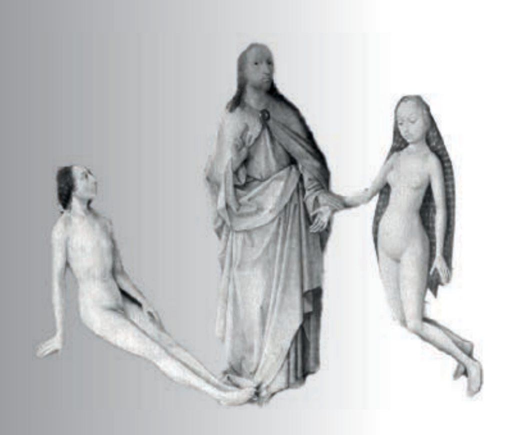
Я раскинулась на трех широких полотнах, педантично соединенных между собой рукой мастера. Для меня выделен центр просторного зала серебристого цвета. Светясь под лучами софитов, я моментально ловлю на себе взгляд посетителей.

Вокруг меня ежеминутно сменяются люди. Я слышу их восторженные вздохи и тихие, аккуратные шаги. Они пытаются прикоснуться к сути, сопоставляя предназначение изображенных персонажей. Но обнажить мою сущность сможет не каждый — смысл спрятан в религиозных аллюзиях.

От рисунка на левой створке доносится нежное дыхание природы. Мир благоденствует под покровом божественного благословения. Сказочные существа живут в согласии с первыми на Земле людьми — Адамом и Евой.

Насладившись чудесным покоем, зритель обращает свой взор на мою центральную часть. Глаза разбегаются. Картина изобилует не поддающимися объяснению действиями: человек прячется в раковине мидии, другой — заключает в объятия сову, а третий — плещется в озере с русалками. Жизнь кипит, заставляя людей познавать себя и волшебные создания вокруг.





Кровь застывает в жилах при виде третьей створки. Происходящее олицетворяет силу возмездия. Люди ищут спасения от наступающей агонии, но никто не приходит на помощь. Их ждёт расплата за грехи. Они обречены на вечные терзания.

Я красноречива. Я пугаю, изумляю, влюбляю в себя.

Я заставляю учиться у прошлого и предотвращать ошибки в будущем. Каждая моя деталь богата смыслом. Герои выглядят настолько вычурно, что вызывают восхищенное недоумение. *Я сплошной оксюморон*: во мне находят общий язык герои из разных миров. Их тела сливаются в танце. Их судьбы тесно переплетаются. Они единое целое. Целое в той реальности, где каждый получает по заслугам.



Возможно, это смешно, но одно из первого, что приходит на ум при мыслях о «невыразимо выразимом» – это еда. Не борщ и не котлеты. Но думаю, каждый, кого хоть раз волею судьбы занесло в дорогой хороший ресторан, где продумано не только меню, но и каждая складка скатерти (о поварах высшего уровня не стоит и упоминать), мог чувствовать подобное. Заказываешь блюдо, в названии которого не понимаешь ни одного слова, какое-нибудь фуа-гра с пармантье из айвы и пеной из грибов. И как только это невиданное блюдо касается, твоего языка, сознание улетает на неведомые высоты. Понимаешь, что этот вкус не похож ни на что, и что даже, пожалуй, не найдется слов, чтобы описать. Вкус – выразимый, только потому что он есть, что он приготовлен, и что ты его чувствуешь. И невыразимо выразимый потому, что никогда не сможешь передать его характер словами.

В таких ресторанах я бывала редко, но каждый раз испытываю похожие ощущения – небывалого неземного вкуса, наслаждения им и удивления его неповторимостью.

Не менее непостижимым для меня является хорошее вино. Обычное вино – прекрасный предмет для экфрасиса. Оно очень конкретное, реальное – в этом нельзя ошибиться. У него есть свои характеристики, которые дадут представление: мягкое или танинное, лёгкое или насыщенное, сухое или сладкое, мягкое или кислое. В таком вине достаточно легко угадываются вкусы и ароматы: красных фруктов, шоколада, сливы и чего угодно ещё.

А хорошее вино? Только оно, попадая в рот, моментально заявляет о себе, создавая неуловимое ощущение, сотканное из запредельных вкусов и ранее неизвестных ароматов. Ощущение, совершенно невозможное, не поддающееся попыткам поделиться опытом его дегустации. Словно это не совсем земное вино. Словно оно попадает не в плоть, опьяняя и повышая давление, а прямо в душу, раскрывая ей невиданные впечатления о другом мире. Для хорошего вина становятся совершенно незначительными свойственные обычному вину категории: танинность, запах корицы, сочетание с видами пищи.

Такое вино даёт прикоснуться к тайне, к чувствам, к переживанию. Оно само выражает себя и раскрывает себя человеку, пожелавшему этой встречи, но язык слишком беден для его выражения.





***

Выбраться из Киева было непросто. Пробки желающих уехать позападней в некоторых местах достигали 50 километров. Со мной на связи были украинские друзья. Они подсказали, что хотя билеты на поезда раскуплены, можно проситься у контролёров пустить без билета.

Я была готова идти 15 км на железнодорожный вокзал пешком. Но мне повезло, что в этот момент не было обстрела и работало метро. Мосты ещё не разбомбили.

С начала войны я не особо паниковала, просто тупела и впадала в ступор. А вот на вокзале чуть не случилась паника. Огромный зал был забит людьми под завязку. Все они бежали, ходили, толкались. Я была там впервые, и всё никак не могла остановиться, чтобы понять, куда идти, - меня сразу же сносили.

С помощью друзей, дававших мне инструкции по телефону, я нашла выход к платформе. Там готовился к отправлению поезд Киев-Львов. У дверей каждого из вагонов стояли десятки людей, плакавших и умолявших пустить их внутрь. Я не смогла заплакать, и поезд уехал без меня.

Я попала на следующий поезд до Рахова. Меня просто занесло в него потоком людей.

***

За день до войны я была у эндокринолога. Мы говорили с ней минут 40. Мы говорили не только про мой повышенный ТТГ, но и про войну. Она сказала:

— Пусть молодые и дети уезжают, а мы пойдём на войну. А они потом вернутся, чтобы строить.
Врач предположила, что мои проблемы с щитовидкой из-за хронического тонзиллита. В пятницу я должна была в 11.30 пойти к лору. В это время в пятницу я собирала самое основное, чтобы уехать из Киева, и поливала цветы, чтобы у них тоже был шанс выжить.

Про запись к лору я вспомнила только в 11.30 ночи в поезде в Ивано-Франковск.

Тонзиллит, ТТГ — это в целом ерунда. Особенно когда я думаю про тысячи, десятки тысяч людей с инвалидностью, раком, детей с СМА — тех, кто из-за «спасательной операции» лишён шанса на спасение.

***

Каждый вечер гудят сирены. Замираю. Тело сжимается, группируется. Потом начинают активно летать самолёты-вертолёты — и не могу сосредоточиться на чём-то, кроме их звука.

Так — я одна.

Здесь не бегут в подвал при звуках сирен. И я пока видела только один тревожный рюкзак у двери — свой. Война в одной стране, но на разных концах — такая разная.
А я пока не знаю, как привыкнуть к мытью посуды. Каждый раз, когда включаю кран, за спиной вспыхивает котёл, нагревающий воду. ПЫХ — вот так он вспыхивает. Словно взрыв снаряда в километрах десяти. Да, я могу отличить по звуку взрыв в 10 километрах и в 700 метрах. От последнего кажется, что немного трясётся твой дом.

***

Бомбоубежище. Тусклый жёлтый свет. Обваливающийся кирпич. Взрослые и дети, укутанные в пледы и спальные мешки. Серая, выгоревшая земля. Заброшенные здания без окон. Я бегу куда-то, по каким-то полуразрушенным коридорам или домам. Иногда кто-то кричит: сюда! сюда! на землю! Ложимся. Иногда рядом оказывается кто-то из моих друзей. Иногда — я одна.

Всегда — Хаос. Тревога. Взрывы. Сирены.

В снах я пережила это уже больше раз, чем в реальности. Поэтому впервые в жизни радуюсь, когда звонит будильник.

Я касаюсь твоей спины, доллар стоит сотку.
Под футболкой взрослое тело, у тела высокий пульс.
Перебираю тонкую ткань, оголяя
Кожу цвета бока клавиши фортепьяно.

Я касаюсь твоей спины, провожу от лопатки к плечу.
К ключице, груди, животу, опускаюсь, слежу
За твоим дыханьем, движеньем моей руки.
Никакой войны.

Вокруг танка бледные трупы.
В автозаках потные люди.
От мороза потрескались губы,
В сцепке руки.

Улицу залило солнцем,
В густом свете завязли тени.
Держись моей яркой куртки.
Не расцепляй руки.

На улицах мёртвые дети, на Харьков бросают бомбы.
А в постелях голые люди, и будто бы нет войны.
Вскрытая банка оливок, в прессе холодный кофе.
Я касаюсь твоей спины, доллар стоит сотку.

Девочка в серой заношенной одежде с восторгом разглядывает деда, достающего из увесистой рыбки рыбёшку-кроху. Старая иссохшая и сгорбленная баба пытается завлечь свою внучку более впечатляющим зрелищем невиданной жадности. Огромная рыба распласталась на перетоптанном грязном песке. Из надрывающейся пасти её вываливаются десятки рыб, которых она не успела дожрать. Раскромсанное брюхо гигантского существа даже не источает крови. Оно источает только других рыб, проглоченных и едва избежавших процесса переваривания. Те, в свою очередь, в спешке заглатывают меньших, попавшихся под их скользкие губы. Каждый великан пытается заглотить меньшего и не может насытиться. Всепоглощающее обжорство остаётся за спиной увлечённого рыбака. Так легко словить рыбу побольше, предложив ей закуску поменьше. И никто не остаётся равнодушным к собратьям поменьше. Большие рыбы пожирают малых,или пытаются пожирать. Не всегда это сходит им с плавников.



10/03/22

ровно две недели с нападения Путина на Украину. ровно две недели с того дня, как я утром по обыкновению открыла новости и прочитала ужасное. рядом спал Серёжа. я сказала ему, что Путин напал на Киев. он отмахнулся, сквозь сон ответил, что этого не может быть, что я наверное что-то не так прочитала, что-то перепутала. но это было правдой.

я плохо помню, как прошёл тот день. мы ходили из угла в угол, обновляли новостные ленты и только повторяли ПИЗДЕЦ.

За два дня до войны мы приехали в Тбилиси. Серёжа почему-то торопился уехать. позже мы смеялись от бессилия, что это его еврейская чуйка. Моим друзьям, оставшимся в России, выехать было уже не так просто.

я бы не уехала если бы не [....]. Серёжа настаивал, что нужно уезжать. я торговалась, уговаривала ехать сначала хотя бы в Москву. в конце концов сдалась. мы купили билеты. собрались впопыхах. добрались до Тбилиси. с кучей проблем, но добрались.

На следующее утро пёс заболел. Воспаление лёгких. Мы носились, искали врача в малознакомом городе, лечили. А ещё через день война. Мёртвые люди. Разрушенные дома. А в России протесты. И значит много, очень много работы. Я прошу дать мне побольше, потому что не могу просто сидеть и на всё это смотреть. Я всё равно не отлипаю от экрана. Так хоть от меня будет какая-то польза. Утром пса на уколы, потом весь день задержания, насилие, менты. А перед сном, уже после работы - мёртвые люди, разрушенные дома — это даёт иллюзию, что я что-то понимаю, что я что-то контролирую.



На работе рук не хватает. Кидаю клич в инстаграме, что нужны волонтёры. Мне пишет несколько человек. Один из них очень навязчиво расспрашивает, на какую акцию я могу порекомендовать ему выйти. Спрашиваю у друзей, кто он такой. То ли фээсбэшник, то ли эшник. И до меня добрались, уроды.

Рассказывают, что это он сорвал им вечер музыки, посвященной вьетнамской войне. Из-за слова «антивоенная» музыка. Ещё через несколько дней мне присылают фото из города. На панельке в спальном районе баннеры «Сила V правде» и «Za победу». Хочется домой. Хочется, чтобы это поскорее кончилось. Хочется исчезнуть или умереть. Всё вокруг рушится.

я фотографирую надписи в разных частях Тбилиси о том, что русским надо валить. я не русская. я осетинка. дабл трабл. муж успокаивает меня тем, что это, наверное, всё писал один человек, потому что краска одинаковая, да и шрифт как-то слишком похож. от этого не легче. я здесь лишняя. я теперь везде лишняя. в родной стране меня могут посадить за то, что я против войны, за то, что я много лет работаю в правозащитной организации, за то, что эту организацию признали «иностранным агентом».

4 марта обыск в мемориале. ещё недавно его возможность казалась самой большой неприятностью. я выхожу на работу, я говорю что буду работать. обыск идёт 14 часов, за это время ни одного человека не пустили внутрь, включая адвокатов и сотрудников. никого не выпустили. на стенах нарисовали Z. всё разворотили. а в телефоне, в компьютере, в голове - мёртвые люди, разрушенные дома.

я годами пыталась строить себе устойчивую почву под ногами, несмотря на все разрушения, которые мне довелось пережить. теперь всё снова ломается.

сегодня, 10 марта, мы много гуляли. утром в банк потому что деньги превратились в ветку, мною заработанные, мною выстраданные. их теперь надо как-то забрать. и на это уходит много времени, которое я могла бы потратить на что-то полезное, на работу, на учёбу.

мы много гуляли. сначала в банк. потом с псом. мы гуляли и говорили, мы были в парке. пили кофе на лавке, бегали с псом. я приняла твёрдое решение, что вечером приду на лекцию Гасана Гусейнова, как бы сильно ни устала. пришла. мы говорили о культуре. мне стало легче. достаточно для того, чтобы я смогла это записать.

11/03/22

проснулась по будильнику. нужно идти в банк, чтобы вывести через «золотую корону» деньги, оставшиеся на заблокированной теперь за рубежом российской карте. выглядываю в окно. погода ужасная. снег с дождём. не думала, что увижу ещё в этом году снег. надо идти в банк и успеть до работы.

решаем сделать с моего счёта ещё один перевод, но в этот раз на имя Серёжи, а то вдруг два подряд откажутся выдавать. это оказалось ошибкой. мы совсем забыли, что его паспорт сейчас в визовом центре. вспоминаем только когда выходим из дома, а перевод уже сделан. по копии паспорта деньги ожидаемо не выдают. что ж, хотя бы удалось забрать свою часть. на новой неделе паспорт должны вернуть. будем надеяться, что золотая корона до тех пор просуществует.

из-за недосыпа, постоянных переживаний и большого объёма работы голова туго соображает. обнаружилось, например, что я довольно часто стала забывать смыть за собой туалет. раньше такого со мной никогда не случалось.



возвращаемся домой промокшие ровно к началу моей смены. следующие 8 часов я пишу новости о репрессиях в россии, общаюсь с людьми, им подвергшимися. уголовное дело за граффити со словами о российских военных. увольнение сотрудницы ростеха за антивоенные сторис. решение генпрокуратуры признать фейсбук и инстаграм экстремистскими организациями. штрафы за антивоенные пикеты, аресты за антивоенные пикеты.

сегодня бытом занимается Серёжа. он греет мне еду, моет посуду, гуляет с Юкки. смену заканчиваю в 19:00 и сразу же подключаюсь к лекции Кати Марголис. Говорим о Брейгеле и Уистене Хью Одене, об Икаре и исторических потрясениях. Немного успокаиваюсь, отвлекаюсь. Мне уютно и тепло в рассуждениях об искусстве в любых его проявлениях.

Почему я не занимаюсь в жизни этим? Почему меня занесло в правозащиту? Нет, я люблю свою работу, мне важно то, что я делаю. Мне важно видеть смысл своей деятельности, её прикладное значение для конкретных людей. Особенно сейчас. Но искусство. Но литература. Но художники писатели музыканты режиссёры. Особенно литература. И чуть меньше кино. Это моё убежище. Я бы хотела в этом находиться, в этом утвердиться.

А фоном в мыслях по-прежнему, конечно, война. от неё не денешься теперь никуда. Коллега рассказала, что волонтёрит в польском лагере для беженцев из украины. чувствую вину, что я не там. И чувствую благодарность за то, что она, моя коллега, такая замечательная. И боль за то, что это вообще приходится делать.

Я с детства была уверена, что на мой век придутся максимально ебанутые события. вся моя жизнь была ебанутой. мне только невыносимо больно видеть разрушения и смерти, вызванные чужими политическими амбициями. с остальным можно смириться. ну не будет денег, ну работы не будет, ну может посадят меня, если вернусь. ерунда. я пережила смерть отца, самоубийство матери. я пережила клиническую депрессию длиною в полтора года, настолько тяжёлую, что с постели встать не могла. чудовищная, невыносимая ежедневная боль полтора года. что мне остальное? всё ерунда. война отвратительна. остальное я могу вынести

12/03/22

утром опять бегали по банкам. безуспешно. сбер не дал сделать перевод в грузию. если и эта лазейка с золотой короной сломалась, даже не знаю, что делать и на что жить.

из-за этого квеста совсем забыла про митинг против войны, который проводят россияне, оказавшиеся в тбилиси. когда мы добрались до места, все уже расходились. встретили приятеля, немного поболтали. сказал, что один из лозунгов, который там кричали, был «планета без путина». меня это развеселило. представила, как его отправляют в космос и там оставляют навсегда одного.

потом мы гуляли с Юкки в парке и старались не обсуждать ничего, связанного с войной, россией и украиной. иногда получалось. я весь день пыталась максимально отдохнуть перед завтрашним днём. завтра очередные протесты в россии, а значит много насилия и несправедливости. я попросилась на написание новостей вместо мониторинга, которым занималась последние акции, хоть это и более запаристо. чувствую себя на новостях гораздо полезнее. я быстро пишу, знаю, как обустроить процесс, понимаю, что важно, а что можно отложить на потом. сил и нервов это отнимает больше, но и пользы от меня тоже больше.

а пока сижу с компом на коленях и сходящим с ума от нерастраченной энергии псом под боком. вечерами с Серёжей пьём пиво почти каждый день. немного, по банке. но часто. единственный пока работающий способ снять эмоциональное напряжение

13/03/22

утром снова бегали по банкам, удалось снять какое-то количество денег. хотела пойти поработать дома у коллеги, но не успела добежать, хотя идти тут 10 минут. но пока домой пришла, поела, ноут включила и вот уже смена. на антивоенных акциях задержали больше 800 человек. стало привычным. сидишь и 8 часов кряду пишешь про задержанных, говоришь с задержанными.

была одна девушка. её мужа задержали, телефон менты отобрали и писали ей какую-то хрень от его имени. позвонила ей, чтобы выяснить, что случилось. она кричала на меня, требовала узнать, где её муж и не задавать дурацких вопросов. её можно понять. я бы тоже кричала. постаралась спокойно объяснить, что я не враг ей и делаю всё, что могу.

потом под конец рабочего дня хотела позвонить задержанному, но нечаянно от усталости позвонила ментам. на меня наорали озверевшим голосом, очень недружелюбным, готовым с лёгкостью причинять боль. неудивительно, что эти люди бьют задержанных, обращаются с ними как мусором, если на простую невинную ошибку реагируют подобным образом.

коллега, который должен был прийти ко мне на смену, опоздал на час. проспал. у меня не было сил даже злиться. в глазах плыло от восьмичасового нон-стопа задержаний. с трудом досидела этот час и просто на всех скоростях выбежала на улицу, чтобы хоть немного подышать, пройтись.

выпили вечером пива. про войну не читала и не думала. но она фоном всегда. завтра хотелось бы прочитать тексты, которые дал Гасан Гусейнов к следующему занятию. Но утром опять будем бегать по банкам, а потом не знаю, будут ли ещё силы на что-то

17/03/22

очень сильная усталость. пытаюсь работать, учиться и как-то ещё существовать. мир сжался и ужасающе сузился. это похоже на депрессию. в депрессии для меня существовала только смерть мамы, только её самоубийство и моя вина. всё остальное изредка слегка просвечивало через эту тёмную толстую пелену. теперь есть только война. а всё остальное видится сквозь неё.

как я провела эти дни с 13 марта, пока не писала сюда? ходила по банкам. почти всё удалось снять, теперь одной заботой меньше. работала. писала новости и читала новости. покупала еду, готовила еду, мыла посуду, стирала вещи, подметала и мыла полы. гуляла с Юкки, кормила Юкки, мыла Юкки, играла с Юкки и убирала за Юкки. Нужно обустраивать свой эмигрантский быт, но он не хочет обустраиваться. Слушала лекции както вполсилы, сквозь пелену. А вчера в гости приходили приятели, и на какое-то время стало будто получше. Но всё равно к концу второй банки пива — разговоры о войне, об эмиграции, о том, что мы оказались в мире, о котором раньше только читали в книжках. О готовности умереть за убеждения или неготовности для кого-то. О необходимости действовать, о непонимании, как именно. О бессилии и отчаянии. Злости и ненависти. О любви и жалости.

Днём снова работала, а потом была на лекции Гусейнова. Обсуждали Канта и Мендельсона, рассуждавших о просвещении и свободе. Я с трудом несколько дней назад продралась через эти тексты, кажущиеся теперь такими далёкими, такими отвлечёнными. Говорили про войну тоже, конечно. Про то, что свобода солдата - это дезертирство, и это почти невозможная свобода. Про то, что мы смотрим на тексты исходя их своего опыта, и сейчас наш опыт - война. «Блажен, кто посетил сей мир…» тоже вспоминали.

30

Гасан Чингизович сказал, что всеблагие - это мертвецы. Это теперь наши собеседники. Великие мёртвые. Великие потрясения сделали их такими. Великие потрясения изменят и нас. Я всегда хотела какой-то другой жизни, какого-то другого мира. Будет ли у меня, у нас шанс его увидеть?

25/03/22

Месяц войны. Невообразимо. И совершенно невозможно это ни осознать, ни выразить. Умирают уже не просто какие-то неизвестные мне люди, а знакомые знакомых. Журналистка инсайдера Оксана Баулина попала под обстрел в Киеве. С ней работал мой хороший товарищ. Теперь она мертва.

В России репрессии тоже подбираются всё ближе к моему кругу. Позавчера 12 часов обыскивали и допрашивали 22-летнюю девочку, с которой я была на школе судебной журналистки. В один из дней школы она дала мне проходку в бассейн, доставшуюся ей бесплатно, и мы с подругой тогда отлично провели время. А пару дней назад я пыталась найти ей адвоката в её небольшом городке и слушала ночные, дрожащим голосом записанные голосовые о том, как проходил обыск.

А что там Брейгель? Каким-то неведомым образом мне нужно посреди всего этого хаоса найти время и силы выполнить домашние задания для медиашколы. Ужасно не хочется её бросать. Это редкий сейчас островок свободы и интеллектуального наслаждения. Но кажется, что ни учёба, ни творчество невозможны в суете, в усталости. Для них нужно пространство роста, а у меня его сейчас нет — всё сжалось, стиснулось и просветов не видно.

Брейгель. Смотрела картины, листала, разглядывала. А потом надолго зависла на одной. Слепой ведёт слепых. Она сильно отличается от других работ. В попытках что-то узнать о полотне выяснила, что это копия работы отца Брейгеля младшего. Хотела прошерстить тонну литературы и написать красивый анализ с подтверждениями из источников, но где взять столько времени и сил. Поэтому как в начальной школе — «на этой картине мы видим…». А дальше язык ломается, не знает, за что ухватиться, чтобы не скатиться в банальность и пошлость.

В той же начальной школе мы читали «И грянул гром» Брэдбери. Нам задали сочинение в духе «что хотел сказать автор». Я весь вечер пыталась что-то написать, а потом разразилась рыданиями. Мне было нечего писать. Мне казалось, что автор предельно ясно выразил свою мысль, и она не нуждается в моих комментариях. Любые изменения тянут за собой клубок последствий. Мелочи только на первый взгляд действительно мелочи. Человек не может предугадать, куда приведут его поступки, пусть и незначительные. Реальность — очень зыбкая штука. Вот, пожалуй, и всё, что я могла сказать, не уверена, что и сейчас нашла бы слова лучше. Но сочинение как-то надо было сделать, причём соблюсти при этом все формальности — заголовок, введение, основная часть, заключение. И что-то шаблонное, что-то правильное я всё-таки из себя выдавила.

А слепые всё идут и идут по косогору и конца-края их пути не видно, но ясно одно — они все скоро упадут, как и тот, что уже катится в пропасть. А природа прекрасная, солнечная, умиротворённая, и миру нет дела до их падения. Таково человечество. Мы бесконечно верно идём к своей трагедии, она неминуема, она — единственный возможный нам исход. И мы всю жизнь учимся жить так, будто ничего особенного не происходит, будто мы просто гуляем в красивых костюмах по красивой земле. Каждый из нас умрёт. Но сначала будет страдать. Умрёт каждый и каждая. А потом мы и вовсе перестанем существовать как вид.



Пятнадцатого марта две тысячи двадцать второго года
я встретилась с подругой, и было хорошо.

Мы выпили немного кофе. В каком-то модном месте.
Мне не хватило на метро.

На Боровицкой есть выход, идущий отдельно от входа.
Там можно проскочить.

Пешком три станции. Я почти проскочила. Но прямо на росгвардейцев.
Один из них предложил

Пройти вместе с ними в будку. Стеклянную, у перехода.
Я отказалась, спросила: «вы знаете сколько стоит билет

В музей имени Пушкина? Да хотя бы в Музей современного
Искусства, да хотя бы Гоголя? Хоть в какой-то музей?»

Меня притащили в будку. И, кажется, угрожали.
Но я их совсем не слушала. Я думала про музеи,

И про дорогой кофе. Неоправданно дорогой кофе.
И про самоубийство Саула. Которое изобразил

Цисгендерный белый мужчина. Ещё в шестнадцатом веке.
На картине много людей.

Я смотрела её с экрана смартфона утром.
Приближала пальцем фрагменты, пытаясь увидеть смерть.

Искала царя на выступе, похожем на фьорд «язык тролля»,
Стоящий по центру картины, с лучниками с щитами,

Заполненный солдатами с копьями, флагами и луками.
В прописанных детально доспехах.

Под выступом зелёное поле. За полем белая речка.
Вдали замок и крепость. Дальше город, и будто пожар.

Я искала царя на картине. Приближая события пальцем.
А царь умирал на скале в левом углу.

Он проткнул себя мечом, когда я смотрела на лучников.
Он проткнул себя, пока я видела замки.
Он истёк кровью, и три солдата у подножья скалы были лишены

Возможности совершить убийство.
Они ещё это не знали. И счастливо затаились,
приготовив штыки.

Стоя в стеклянной будке, я видела как идут люди
По длинному переходу.
Пока на меня кричат. Пока мне угрожают,
Пока меня убивают.
Люди идут на работы, в дома, а может, в музеи.
Идут пить дорогой кофе.
И пока они смотрят прямо, вперёд, перед собою,
Я умираю сбоку.
В левом углу картины.
В нижнем углу перехода.
С краю их большой жизни.
Пока они смотрят в центр.

Я никогда в жизни не видела столько мёртвых. Смерть слишком рано стала частью моего опыта, но я не вглядывалась в неё, делала сознательное усилие, чтобы отвернуться, я знала — это может меня раздавить. Я почти не смотрела на тело отца в гробу, когда мне было 14 и почти не смотрела на мёртвое тело мамы в 20 лет.

Теперь меня придавило и размазало будничностью фотографий мёртвых тел. Слова вязнут в этой крови, в этих кусках плоти, в обломках военной техники, в осколках того, что было домами и обстановкой домов.

Много убитых с велосипедами. Люди лежат ровно так, как ехали. Ехал на велосипеде, был убит, завалился набок. Кому вообще может помешать велосипедист? Какая от него угроза, какая опасность?

Тела и части тел. Пулевые и осколочные ранения. Мужчины, женщины, дети, старики. Военные и гражданские. Обгоревшая плоть. Связанные за спиной руки мёртвых. Мёртвые животные — кошки и собаки. Много. Черные пакеты. Лужи крови. Видеозаписи пыток и расстрелов. Фотографии разрушенных городов. Ежедневно сотни новых фотографий и видео. И это только сфотографированное, отснятое, увиденное. Под некоторыми фото насмешливые подписи.

«Очередной потеряшка уснул» под фотографией тела с накрытой куском окровавленной ткани головой. «Доигрался. Теперь спит» под фото мёртвого солдата с баяном. «Этот оккупант не успел убежать. Теперь жареный» под фото обгоревших останков.

«Пособник свинобомжей отпизжен», «украинский биомусор», «ещё один долбоёб приехал землю удобрять», «ну чего хохлы, оптом пошли ваши пленные» — это уже с другой стороны.

Тотальное расчеловечивание. Ненависть.

Сегодня в кассе банка передо мной была девушка из Мариуполя. Пожилая грузинка помогала ей открыть счёт. А девушка стояла потупившись, глаза в пол, ни слова не сказала, ни на кого не смотрела. Мне хотелось кинуться ей в ноги, но я не смогла сдвинуться с места.

Фотографии могил во дворах многоэтажек. Фотографии могил российских солдат. Рядами. В пластиковых венках. Завалено. Видео похорон с воинскими почестями из моего родного города.

На региональном телеканале много лет выходила программа «Извещения», где на чёрном фоне белыми буквами был примерно следующий текст: «Семья таких-то [фамилия] с прискорбием сообщает о (безвременной) кончине такой-то/такого-то. Гражданская панихида состоится по адресу такому-то», — и монотонный мужской голос зачитывал этот текст по нескольку десятков извещений за раз. Моя прабабушка из Дигоры и мой дед из Владикавказа никогда не пропускали извещения. Потом программу отменили. И старики Осетии взбунтовались. Извещения пришлось вернуть. Это повторялось раза три или четыре. Не знаю, выходят ли извещения до сих пор, но если да, наверное диктору приходится озвучивать теперь уже не гражданскую, а военную панихиду. Больше 50 убитых на войне жителей Северной Осетии только по официальным данным. В Осетии, население которой меньше 700 тысяч человек. Что вообще сделали осетинам украинцы? Да они и не встречали друг друга даже почти.

Чувствую себя максимально тупой, от того что перестаю понимать кто, кого и зачем убивает. Я совершенно не понимаю войну. Абсолютно не понимаю. Как один человек может убить другого человека, которого раньше не видел, не знал. Как один человек может издеваться над другим человеком? Насиловать, пытать. Впрочем, для этого даже война не нужна. «Для того ль должен череп развиться. Во весь лоб — от виска до виска, Чтоб в его дорогие глазницы. Не могли не вливаться войска?».

Вот Сонтаг совершенно точно не тупая, она умная. Она пишет, что те, кто удивляются тому, что люди делают с другими людьми, просто ещё не повзрослели. А я наверное никогда не стану взрослой в достаточной степени. Зато те, кто насилуют женщин и детей, держит людей в подвалах, стреляет в затылки мирных жителей, обстреливает жилые дома — уже очень взрослые, они не удивляются, они точно знают, что один человек может сделать с другим человеком.

Бледная кожа, высокие скулы, крупные черты лица. Струйки крови смывают дорожную пыль с щеки, еще покрытой юношеским пушком. Форма, каска. Российский солдат. Фото в канале украинских военных. Подпись: "Крепко уснул. Будить?".

Похож на моего возлюбленного. Он выглядел точно так. Только без пыли, каски, формы солдата. В форме ребенка. Без возможности проснуться, повзрослеть, открыть глаза.

Паспорта.
Поезда.
Вагоны, забитые людьми в целлофане.
Крупный план бурята.
Половина лица на месте, половина смята.
Как подушка, после того, как на ней долго лежали.
Их зовут "русскими потеряшками".

Красный гель-лак. На одном из ногтей сердечко. Под ногтями грязь. Кисть руки мертвой женщины.

Мертвые женщины – след русского солдата.
По телевидению в России говорят: их убили нацисты, они же тероборона.

Заборы помечены буквой «V»
Во дворах могилы.
Трава зеленая, забор сетчатый.
Ребенок ставит консервы на землю.
Под землей его мама
Могила обрамлена кирпичиками, как клумба.
На клумбе деревянный крест.

Он выглядел так же. Он выглядел точно так же. Огромные голубые глаза, раскроенный череп.
Не невеста, не жена, не подруга.

боюсь
что тебе оторвут голову, что череп развалится, что ты откроешь глаза
пожалуйста, открой глаза
я целую
лоб, брови, глажу скулу
оттопыренное, не успевшее окоченеть, чуть розовое по каемке
ушко

Со спины, затылком или лицом? Спрашивала у друга, у отчима. Спрашивала и каждый раз забывала.

обвиваю руками голову
свою - потому что твоя не поместится, не встанет в угол между локтем и запястьем
это паучья сетка, чтобы приклеить
красные пазлы осколков размозженного черепа

В этот год ему было бы двадцать. Он пошел бы на фронт? Убивал бы, насиловал?

я обиваю
голову
руками
чтобы прыгать в асфальт было мягче

Струйки крови смывают дорожную пыль с щеки. Форма солдата, форма ребёнка, форма женщины, форма смерти, форма убийства. Он выглядел так же.
Вглядываюсь в рану и погружаюсь в свою.

Война, убившая твоё, навсегда становится самой главной. Мы смотрим на чужие страдания, а видим свои.

Женщина лежит на операционном столе. Волосы разметались по ярко оранжевой подушке. В правом ухе блестит золотая серёжка. На её шее — окровавленный бинт. На плече — мужская рука в голубой перчатке. Должно быть, врача.

Всё её лицо и тело измазано засыхающей темнеющей кровью.

Боль перекосила лицо женщины. Не лицо, а то, что от него осталось. От него осталось мало. Левой щеки и шеи под ней просто нет. Вместо них — кровавая масса мяса. Из дыры в голове клочьями свисает нечто, напоминающее по структуре и цвету печень.. Что это может быть? Что такое может выпадать из внутренностей лица? Смогут ли врачи заделать это огромное отверстие?

Девушка потеряла несколько зубов. С правой стороны шеи — тоже рваная дырка.

Мы почти не видим глаз, но видим в их зажмуренных складках невыразимое страдание. Приоткрытый рот, заканчивающийся в багровой пропасти, неистово молит о чём-то. О спасении или о смерти?

На новом месте я долго не задержусь, и в этом проблема. Я по-кошачьи привыкаю к местам, мне важен устойчивый, определённым образом выстроенный быт, каждодневная рутина, распорядок дня и недели. Не то, чтобы я строго соблюдаю графики, нет, дело не в этом. Постоянство в подобных вопросах даёт мне свободу от утомляющего, но необходимого и неизбежного труда по созданию комфортной среды. Когда эта среда обустроена, она даёт мне точку опоры и высвобождает время на труд созидательный.

Мне не нужно думать, что, когда и как приготовить, когда и куда идти в магазин, когда делать уборку, и сколько времени это займёт — для этого в обычной жизни у меня есть базовые настройки, которые сейчас слетели.

Неудобств масса, но я под всё это как-то подстроилась уже. А через месяц место снова нужно будет менять и заново обустраиваться.

За окном узкая улочка, чужие занавешенные окна напротив. Кованые балкончики, шиферные крыши. Хаотично припаркованные автомобили. Осыпающаяся штукатурка и обнажившийся старый кирпич. Сохнущее бельё. И вдруг непонятное — один из балконов обнесён металлическим листом от пола до крыши, а в нём узкое пластиковое окно. Когда смотрю на него, думаю, как к этому пришла фантазия хозяина или хозяйки, какая утилитарная необходимость привела к такому решению. Но ответа не нахожу.

Ты спрашиваешь, что внутри. — во мне или в квартире? Могу рассказать про то, и про другое.

Небольшая квартира в центре Тбилиси, в узких старых переулках. Пожалуй, где-нибудь в Москве дом признали бы ветхим, а может даже аварийным: он в трещинах. Но по квартире этого не скажешь. Свежий ремонт, ненавязчивая обстановка. Бирюзовые и песочные стены, высокие потолки. Входишь, и сразу попадаешь на просторную кухню. Мне кажется это правильным и логичным — если приходят гости, где мы будем с ними сидеть? Конечно, на кухне. Если приду я, уставшая с дороги, куда я пойду? Да, на кухню.

У квартиры есть и изъяны. Чтобы в неё попасть, нужно подниматься по узкой деревянной неровной лестнице, достаточно длинной для того, чтобы однажды подвернуть ногу. Освещения в подъезде при этом нет, приходится вечерами светить себе телефоном. В самой квартире освещение тоже скудное, тусклое. Кроме того, холодильник здесь такой маленький, что ничего не влазит, так что приготовить еду на несколько дней вперёд не получится. А ещё отсутствует стиральная машинка, поэтому приходится с мешками нестиранного ходить то к одним знакомым, то к другим, договариваться, выбирать подходящее им и нам время.

А если про меня, то внутри сумятица, тревога и усталость. Ощущения последнего месяца мне пока сложно передать словами, возможно позже эти слова найдутся. Чувство не прекращающейся погони или побега. Только не понятно, бегу я от или за. Думаю о недостаточности своих действий. Боюсь каждого нового дня. Переживаю и тревожусь за родных, оставшихся в России. Устаю от этих мыслей, чувств, переживаний. И от бесконечной работы, которой стало так много теперь, тоже устаю. Очень хочу домой, очень хочу, чтобы было как раньше. Хочу просто лежать в своей комнате и читать книжку. Хочу гулять утром по набережной своего города с собакой. Хочу сидеть вечером на кухне и болтать с дядей. Хочу чтобы войны не было, чтобы она закончилась завтра же.

Ты хочешь знать, приятно ли мне теперь жить в новом?

Однозначное нет. Я не знаю, что тут еще сказать. Нет, нет и нет.

Это новое накрепко сшито с войной, со смертями, с преступлениями против человека и личности, с разрушениями, с уродством, невыносимым уродством происходящего.

Сердцем чувствую, что не имею права находиться там, где нахожусь. Я должна бежать и останавливать войну своим телом. Я должна лететь в Пшемысль и помогать. Так чувствую, а поделать ничего не могу.

Тебе интересно, скучаю ли я по старому месту, по России.

Очень. Как пела группа Люмен, «Я так люблю свою страну и ненавижу государство». Мне было лет 14, когда я это слушала.

Последние два года я жила во Владикавказе, городе, где выросла. Я вернулась туда из-за тяжёлой депрессии из Москвы, в которой прожила 10 лет. У меня сложные отношения и с тем, и с другим городом. Во Владикавказе я чувствовала себя в юности совсем чужой и лишней. Мне были непонятны закоренелый сексизм, эйджизм, традиционализм тамошнего уклада. Я сталкивалась с травлей и одиночеством. В Москве я просто не нашла себе дома за эти долгие 10 лет. Жизнь в мегаполисе отчуждённая, схематичная, какая-то искусственная. В Москве не хватало природы и пространства физического, во Владикавказе — свободы и пространства интеллектуального.

За два года после возвращения я сумела комфортно обустроиться, несколько эскапически, но мне было хорошо и спокойно. Мы жили в небольшом доме на окраине города, поблизости от леса. До центра города — 20 минут пешком по набережной Терека. Мы часто ходили. Встречались с друзьями и родственниками. Сидели в парках и кафе. Днём я работала, а вечерами читала книжки. Казалось, жизнь налаживается. Вот по этому я скучаю.

Ты хочешь знать, какой весны я ждала.

Я ничего не ждала. Я не помню, когда вообще последний раз чего-то по-настоящему ждала. Из-за депрессии и ПТСР, из-за домашних проблем, из-за того, о чём не хочется говорить, я давно уже не могу строить долгосрочные планы. Давно — это по-настоящему давно, девять лет. Моя жизнь разделилась на до и после, сломалась, раскололась на части. Какие-то островки-опоры иногда появляются, но чаще отмирают сами собой. Я могла только рассчитывать на своё стабильное состояние и на отсутствие внешнего пиздеца.

В конце февраля мы уезжали в Тбилиси на два месяца, чтобы я могла прийти в себя после очередного невыносимого в моей жизни. Я думала, что встречусь с приятелями и приятельницами, буду гулять по красивому городу, ходить по кафе, ездить в горы. Я думала, что буду хорошо работать, хорошо учиться и много читать — привезла с собой покетбук, но ни разу его не взяла в руки. Мы приехали 21-го, а 24-го всё стало хуже, чем я могла себе представить. Иногда мне кажется, что я слишком сильно в обострении депрессии хотела конца света. Конец моего света уже случился в мае 2013-го. А теперь рушится мир для сотен тысяч людей, и конца этому не видно, и оправдания этому нет, быть не может. Я ненавижу весну. Всё худшее в моей жизни всегда случалось весной.

За окном весна. Москва, растаявший снег, мокрые тропинки. Отменённый на время прогосударственных митингов ковид.
В городе тепло. В мире стыдно. Быть русской стыдно. Открещиваться стыдно. Остаться в России стыдно. Уехать — тем более стыдно.

За окном весна. Выпал снег. Домашние собаки радуются, бездомные мрут. В Украине бездомных собак много. Будет больше. Брошенные на вокзалах, нашинкованные осколками. Без воды, еды, человека.

В голове теснота. Штатив, площадка для камеры. Не забыть площадку для камеры. Паспорт. Сними митинг, организуй концерт, договорись на сюжет, пока не сели-уехали-испугались. Чай горячий кофе холодный не забывай про таблетки. Ты больше со мной не дружишь спасибо что на русском извини да да не волнуйся уеду нет не могу кто-то должен. Знаю знаю знаю извини спасибо пей таблетки будильник поставь и напоминания. Умирать в войну логично. Умирать самое время. 27 лет какой шанс какой возраст. Выкинь лезвия возьми в руки слова. Держи слова остриём от себя. Меня сл ишк ом м ног опейта блетк ипе йпей посмотри за окном тамапрель

Там апрель. А нам говорили. Говорили, что будет апрель. Что надо шить платья из ситца. Мир рушится, а апрель наступает, как российская армия. Агрессивно, бессмысленно и беспощадно.

Мир рушится. Мир людей, которые любили ходить по торговым центрам и закрывать глаза. У которых искусство вне политики. Университет вне политики. Жизнь вне политики.

Рушится. Мир неизлечимо и излечимо больных людей. Покалеченных животных. Докажите, что вас важно спасти. Борьба лейкемии с РАС. Кто важнее? На кого пожертвуете? Держитесь, деритесь. Со смертью, с жизнью и за внимание благотворителей.

За окном Россия. Страна великого и могучего. Языка ненависти и Пушкина. Чехова, Бродского, Рыжего. сталина, окопного, путина. Люди в форме убили язык. Они не понимали. Как не понимают значимость чьей-то жизни.

За окном страна проносится со скоростью поезда. Застрелена в затылок и разлагается на асфальте чужая мечта. В воздухе пахнет весной, заблёваны солнцем улицы. Шагаю к окну, но не делаю шаг из окна. Открываю тетрадь, телефон или ноут. Улетает голова, от таблеток кружится комната. Цепляюсь пальцами за слова и вбиваю в белое чёрными буквами:

«За окном весна».

Будущее руин

Очередной, уже четвертый по счету набор на курс «Город как текст» в Свободном университете пришелся на начало вторжения РФ в Украину. Событие настолько катастрофическое, что, казалось, всё потеряло смысл.

Однако мы со студентами решили, несмотря ни на что, попытаться противопоставить внешнему ужасу и внутреннему хаосу что-то созидательное или хотя бы попытаться собраться для совместной рефлексии над происходящим в режиме реального времени. Поэтому этот курс «Город как текст» мы начали с обсуждения темы руин и чтения книги Андреаса Шёнле «Архитектура забвения: руины и историческое сознание в России Нового времени» (НЛО, 2011). Основной точкой разговора стала глава «Руины Ленинграда времен блокады и эстетика борьбы за выживание».

По окончании обсуждения книги на занятиях в апреле 2022 года я связалась с профессором Шёнле, и он любезно согласился провести для наших студентов специальный семинар «От философии руин до Украинской войны», к которому предпослал следующую аннотацию:

«Непостижимый размах разрушения в Украине с трудом подлежит визуальному восприятию или обозрению. Вместе с тем уже появляются художественные проекты, которые так или иначе пытаются придать оставшимся развалинам какой-нибудь смысл. Для того чтобы выработать набор концептуальных орудий для анализа этих проектов, предлагаю вкратце вникнуть в философию руин, и оттуда нам вместе выработать подходящий инструментарий, в частности для обсуждения вопроса, может ли, вообще, иметь место эстетизация разрушения в теперешнем контексте войны».

Результатом этой работы стали студенческие эссе свободной формы. Несколько включены в этот раздел журнала.

Руководитель курса Екатерина Марголис

Руины как знаки отсутствия

Екатерина Дмитриева

на следующий день после нашего занятия мы созвонились с другом, я рассказала про курс и главу из книги Шёнле о руинах Ленинграда. чувствовала, что иду по очень хрупкому льду, как бы не провалиться. моя мысль о руинах как необходимой временной нити с прошлым, о важном соприкосновении человека и памяти, пусть и такой неизлечимо больной, пошатнулась, и уже не кажется мне однозначной. хотела бы я видеть открытые раны, вырастающие в пространстве новой жизни, как «Срез» Томаса Хиршхорна? ответ «вряд ли» повисает в воздухе.

я растеряна, ведь это не мой дом разрушен, не мои «будильники» и «альбомы» под завалами щебня. у меня закончились слова — руины вызывают немоту, потому что откровенны и свидетельствуют о насилии. идти самостоятельно не получается, буду опираться на части речи: «нам, людям нормальным, и в голову не приходит, *как это можно вернуться домой и найти вместо дома — развалины.* нет, мы не знаем, как это можно потерять и ноги, и руки под поездом или трамваем — все это доходит до нас — слава Богу — в виде горестных слухов, между тем это и есть необходимый процент несчастий, это — роза несчастий»[1].

нет, мы не знаем.

во времени и пространстве образовывались странные пустоты, в которых мысли и действия оставались сами в себе — были слова, но не было уст для их говорения. директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов указал на очень точную черту репрессивной системы: она уничтожает не только человека, но и память о нем. читая текст Шёнле, я проваливалась в эти слепые зоны: между реальным состоянием города и цензурой, ограничивающей его документацию; между жизнью учителя географии Алексея Винокурова, который вел блокадный

1. Иосиф Бродский. Современная песня. 1961.



дневник («господи, как мы беззащитны. даже ругаться нельзя, не рискуя быть арестованным как контрреволюционер»), и приговором к расстрелу за «контрреволюционную антисоветскую агитацию, в которой клеветал на советскую систему и действительность, Красную Армию и печать»; между пережитым опытом и причиной ликвидации Музея обороны Ленинграда в 49-м году и всем «Ленинградским делом». Винокуров пишет, что «у нас, впрочем, вещи часто называются не своими именами»[2]. какое место в этих словесных «провалах» занимают руины — вопрос.

теперь я думаю: выражают ли они, помимо крайнего ужаса и немоты, непосредственный способ речи — не подмененной, а подлинной, в которой мы все так остро сейчас нуждаемся? и может, зияющая дыра в развалинах Большого Дворца у Сергея Шиманского[3] — это своеобразное «О» нашего крика?

DOI: 10.55167/ecb04e2ca06a

2. Запись от 3 июня 1942 г.

3. Сергей Шиманский. Руины Большого Дворца в Петродворце. 1940-е.

Будущее руин

Андрей Григорюк

Шёнле в своей книге говорит, что отсутствие бережного отношения к руинам — проблема России, а не Европы. Если угодно, то дело тут в том, что Россия из-за своей близости к старине имеет чисто инструментальное восприятие этой старины. Имеется в виду, что из-за консервативного политического режима одна часть граждан стремится от старины, например сталинской архитектуры, дистанцироваться в излишне подчеркнуто европейский стиль, и это тот случай, когда перебрать — то же самое, что недобрать. Другая же, более консервативная, воспринимает нашу старую архитектуру как данность. Уподобить это можно в чем-то и бартовской оппозиции языка дровосека и языка мифа, т.е. языков, ориентированных, соответственно, на изменение мира и на его описание[1]. Аналогичное можно обнаружить, если заняться, например, генезисом мифа о «деревенских корнях» — обнаружится как раз, что выходцы из деревни в первом поколении отнюдь туда обратно не стремились. Образ пасторального локуса появился уже в сознании следующих поколений. Хотя в принципе сам этот архетип и достаточно древний, тут можно вспомнить и романтизацию сельской жизни французской аристократией, и античные буколики, однако мы имеем в виду не культурную составляющую этого феномена, но именно социальную механику.

Нахождение в руинах красоты подразумевает некоторую эстетическую «дистанцию взгляда», подобно тому как и литература способна опоэтизировать плохое. Плохое здесь следует иметь в виду, исходя из утилитарного взгляда, направленного на пользу, однако с точки зрения не утилитарной, руины есть не нечто плохое — но более тонкое «хорошее», а также и более подлинное. То есть то хорошее, что только и может способство-

1. Барт Р. Мифологии / Пер., примеч. С. Н. Зенкина. 5-е изд. М.: Академический проект, 2019. С. 308–309.

вать возрастанию души, не будучи фразами-кодами из учебников обществознания. Общее познается через индивидуальное. Проще говоря, мораль должна находить индивидуальный путь в сердце каждого человека на близких ему примерах. И тут помогает искусство, в том числе и поэтизацией условно плохого. Однозначный правильный классический позитив редко находит отклик, ибо человеку с его земными страстями не близок. Тут уже не парадигма «вредно — полезно». Собственно, привлекательность руин идет из того же источника, что привлекательность кинозлодея, дендистской «небрежной элегантности», романтической концепции вечного становления и избегания счастья, идиллии как точки застывания. Отсюда же идет и непривлекательность примитивного осовременивания. Грубо говоря, это как если кобра на вас нападает и если она в зоопарке за стеклом. Тогда можно даже и полюбоваться силой, грацией этого животного. Эта вот дистанция взгляда — примета нашего времени во многих областях. Сейчас в социальных сетях, например, среди преимущественно молодых людей популярно то, что можно назвать «эстетикой упадка»: панельки, весенняя грязь, прокуренные подъезды. Словом, и Россия ныне постепенно отходит от инструментального восприятия руин. В этом парадокс и состоит: нужно в достаточной мере модернизироваться, чтобы не бояться прошлого.

Проводя аналогию с человеческой психологией: некий человек следует советам различных «гуру», что надо мыслить позитивно, и подавляет в себе отрицательные эмоции, в отличие от другого, кто понимает, что отрицательные эмоции равно необходимы и их следует прожить. Подлинный оптимизм не противостоит страданию, а объемлет, в терминологии Гегеля, снимает его.

Руины содержат в себе будущее и в том смысле, что зрелище сноса зданий также создает ощущение попадания в пространство Большой Истории, когда, по словам В. Пелевина, «начинаешь понимать, что в бензобаке сгорают остатки величественного тираннозавра», т. е. некоторую диалектику великого и малого. И дело тут в том, что мы склонны игнорировать радостные события: если они часты, они становятся для нас обыденностью, но чтобы прочувствовать жизнь, необходи-

мо зрелище умирания, т.е. руины. Ибо оно как бы выводит из порядка банального и обостряет восприятие мира в целом, а не только собственно себя.

DOI: 10.55167/655dcbe84d63

Заметки об Эросе и Танатосе руин

Александр Гунин

Всё и вся стремится себя явить — проявить в конечную, плотную инстанцию, в то, что доступно нашим органам чувств. Как и эйдосу красоты, гармонии, небесным царствам, так и обратному — Аиду, Танатосу, хтоническим силам.

Если определить традиционную европейскую архитектуру как манифестацию платоновского Эроса, то руины являют собой Танатос, искажение гармонии. Строения, лишившись жизни, становятся местом прямого влияния сил Аида: тёмная эстетика захватывает обезжизненное пространство, проявляя себя посредством своих знаков и символов.

Но руины руинам рознь. По-разному являет себя Аид. По-разному формируется отношение к руинам.

Романтизм

В древнеанглийском языке есть слово, сполна отражающее, объясняющее островную цивилизацию: *dustdceawung* — размышления о пыли. Образ англосаксонской души заключен в семантике *dustdceawun*». На древнеанглийском сохранилось шесть столпов-поэм, вдохновленные видениями разложения, увядания, заброшенности, отчаяния. Одна из элегий — «Руины». Конструкция представленная пятьюдесятью строками отражает её топографический нарратив — руины города. Некогда надежные и высокие стены, величественные дома — работа *enta geweorc* — гигантов (нередко встречающаяся фраза в англосаксонской поэзии, дань расе великанов, некогда населяющих остров). Теперь же всё разрушено: обвалены стены, лишайниково-серые камни, гниющие крыши домов.

Процесс разрушения, плач по-своему красивы. Танатос является, можно сказать, в предромантической форме.

Эта кладка чудесна; судьбы сломали его,
тротуары двора были разбиты; работа гигантов загнивает.

Обрушены крыши, руины башни,
разорены морозные ворота с наледью на цементе,
сколы крыш рвутся, рушатся,
подорваны старостью. В руках у земли есть
могучие строители, погибшие и павшие,
в крепкой хватке земли, пока не уйдут сотни поколений
людей. Часто эта стена,
лишайниково-серая и окрашенная в красный цвет,
переживала одно царствование за другим,
оставалась стоять под бурей; рухнули высокие широкие ворота.

Окончательно романтизировал руины Вордсворт элегией «Тинтернское аббатство». Закрепив новое прочтение руин у предромантических писателей Уильяма Гилпина, Анны Радклифф. В своих путевых заметках *dustdceawung* они модулировали эросом.

Безусловно, в данном случае эстетизация руин связана с меланхолией — подавлением воли при ясности ума (согласно Роберту Бёртану). Театр мира переезжает с привычной сцены в анатомический театр — препарационную. Меланхолия зацикливает человека на себе самом — скальпели и пинцеты начинают резать и ковыряться в собственном трупе, в собственном страдании. И открывающиеся тайны — это тайны как своей собственной смерти, так и смерти вокруг.

Идеология «закона развалин»

Особое, патриотическое отношение к умиранию зданий пытался реализовать немецкий архитектор Альберт Шпеер, сформулировав «теорию ценности развалин». Теория сводилась к тому, чтобы вырвать разрушение современных зданий из их сугубо отвратительного, хтонического проявления: «…я проходил мимо этого хаоса из разрушенных железобетонных конструкций; арматура торчала наружу и уже начала ржаветь». Героическое воодушевление от руин Шпеер видел в «использовании особых материалов, а также учёт их особых статических свойств должны позволить создать такие сооружения, руины которых через века или (как мы рассчитывали) через тысячелетия примерно соответствовали бы римским образцам».



Зоны

Если руины XVIII и XIX веков связаны в восприятии с меланхолией, романтизмом, то руины XX и XXI веков — с уродством, фрагментарностью, разрушением, авангардом, футуризмом. Танатос в самой своей отвратительной форме захватывает покинутое пространство, не церемонясь являет себя в инфернальных символах, знаках. «Мы хотим истребить музеи, библиотеки… Пусть же придут поджигатели с почерневшими пальцами!.. Вот они! Вот они! Подожгите же полки библиотек!.. Возьмитесь за лопаты и молоты! Сройте основания славных городов!» (Манифест о футуризме, 1909).

Современная архитектура — порождение не эроса. Нарочитый уход от классического использований множественных симметрий, неровность оконных рядов и декоративных элементов, странные геометрические формы, уничтожение привычного символизма эйдоса обнаруживает фрагментарный символизм Аида. Если умирание классической архитектуры гармонизируемое космическими, горними ритмами усложняет захват пространства нижними мирами, то умирание современной, уже мёртвой архитектуры мгновенно оккупируется

силами антигармонии, ужаса — создавая особые зоны, порталы, становясь трансляторами хтонической энергии.

DOI: 10.55167/e6ca130d3a53

Руины-призраки

Кененбек Арзыматов

Я человек, рожденный в Бишкеке, в стране с кочевым прошлым, не имеющей традиции архитектурного строительства и оседлого образа жизни, всегда относился с восхищением к странам, имеющим древние руины на своей территории. Культура Кыргызстана нематериальна, в основном она включает в себя эпические поэмы, национальные игры, декоративное искусство и юрты. И для меня всегда был однозначным ответ на вопрос о необходимости сохранения руин. Помимо исторического и культурного значения, это еще и попытка создать некоторый пропагандистский продукт, доказать, что нация/государство существуют испокон веков, ведь что-то древнее — это лучше, чем пластиковый новодел.

У меня есть только один опыт взаимодействия с городом, полным руин. Этот Воркута, построенная в эпоху бурного социалистического строительства, с полной верой в то, что человек может победить вечную мерзлоту и построить за Полярным кругом достойный для жизни город. Конечно, нельзя забывать, что Воркута окружена лагерями и строилась силами заключенных. Примечателен тот факт, что здесь, раньше чем в столице республики, расположенной в тысяче километрах южнее, появился драматический театр. В центре города имеется Дворец культуры, университет, гостиницы, высотные здания, широкий проспект и несколько бульваров, а по микрорайонам города разбросаны дома культуры, ледовые катки, кинотеатры. Несмотря на тяжелые климатические условия, город строил и экспериментальные совхозы по растениеводству и животноводству для обеспечения собственными овощами, мясом и молоком, которые проблематично доставлять с Большой земли, как в Воркуте называют остальную Россию, так как дорожная сеть города замкнута на себя и не соединена с остальной страной. Распад СССР, тяжелое экономическое положение, отказ мировой промышленности от угля сильно ударили по рабочим

местам в городе, который строился на территории Печорского бассейна, одного из крупнейших угольных разрезов на планете. В связи с чем город опустел. Появился даже термин «паллиативная урбанистика». Дело в том, что отъезд населения из городов в средней полосе России не так категорично сказывается на городе, так как городские агломерации зачастую окружены селениями, которые обеспечат приток новых людей, однако расположенная в тундре Воркута не имеет спутников. За последние двадцать лет город превратился в призрак. Половина домов в городе стоят заброшенные, причем это дома, построенные в эпоху сталинского ампира: здания с колоннами, высокими потолками, украшенные скульптурами и декоративными элементами. А имеющиеся дома заселены лишь частично, люди, не имея возможности продать квартиру, отламывают дверную ручку и покидают город.

В таком положении город представляет интерес для туристов-сталкеров, желающих увидеть своими глазами постепенно умирающий город. Возможно, как это было подмечено в книге А. Шёнле «Архитектура забвения», люди видят что-то особое в стирании личного и общественного, так как в заброшенных квартирах люди могут увидеть когда-то благополучный быт людей, который недавно здесь проживали: оставленные фотографии, дипломы, старые открытки, книги и видеокассеты. И однозначно в этом есть метафизический аспект, когда ты прикасаешься к смерти чужого жилища, как будто ты прикоснулся к чему-то важному, что, возможно, не всегда можно увидеть в других местах. Иногда можно встретить во дворе жильца соседнего дома, который наблюдал за вами, и вот он смотрит на вас, приехавших с фотоаппаратом, благополучных программистов из Москвы и говорит: «Дайте нам тут умереть спокойно». В такие моменты тяжело ответить. насколько этична эстетизация разрушения в этом городе-призраке, который, как скелет, на котором остались еще живые куски мяса.

DOI: 10.55167/51a9621c6e54

Внутренние руины

Валерия Чиж

Стать миром внутри себя, вестником ушедшей эпохи, музеем собственной истории. Уникальные задачи, с которыми, на мой взгляд, может справиться лишь одна архитектурная форма — руины. Природа руин созерцательная, осмысляющая, дарующая возможность заземлиться и побыть наедине со временем. Мне близка позиция Бёрка, который видит удовольствие от созерцания руин важным звеном мироздания. Руины приглашают изучить историю, временные пласты и изменения архитектурной формы. На ступенях амфитеатра античного Иераполиса сложно не ощутить себя частью древнеримской культуры, а в Ружанском дворце не представлять светские вечера Сапег в Беларуси. Вместе с тем руины — это противостояние силы духа силе природы и великого Хроноса. И в этом противостоянии человек также может познать себя, своё место в мире. Понять и принять, что антропоцентричность — шаткая вещь, ведь есть вещи и смыслы сильнее человека в сотни раз.

Я всегда была сторонницей сохранения руин как части культурного наследия. Выступала за бережное отношение и в определённых случаях за новаторские эксперименты в использовании и переосмыслении пространства руин. Но сейчас в силу всех событий переломного XXI века вопрос руин не кажется мне таким однозначным. Позиция Георга Зиммеля, которую раньше разделяла, теперь не кажется абсолютной истиной. Мир полон послевоенных руин. Разрушенный восток, омытые слезами и кровью территории за пределами Багдада, наполненные болью от насилия беларусские площади, опустевшие от политической эмиграции города (я бы назвала это «моральными руинами») и уничтоженные войной украинские города и сёла.

В переписке двух поэтов «Вильнюс как форма духовной жизни» Томас Венцлова вспоминает послевоенный разрушенный Вильнюс: «В самый первый день после школы я заблудился

в руинах; это мучительное беспомощное блуждание в поисках дома, которое продолжалось добрых четыре часа (некого было спросить, потому что людей я встречал немного, к тому же никто не говорил по-литовски), стало для меня чем-то вроде личного символа». Блуждание в руинах. Сколько людей сейчас даже не узна́ют собственные дома после долгого блуждания? Сколько детей никогда не найдут свои сады, школы и дорогу домой? Потому что степень разрушения не оставляет тебе никаких опознавательных знаков. Всё это боль колоссальной величины, которую нельзя (или слишком тяжело) прожить, как мне кажется. Здесь руины теряют свою эстетическую ценность. И я не вижу для них будущего.

Выход мне видится в сочетании руин такого типа с искусством и интерактивностью, в создании большого арт-объекта. Сам по себе разрушенный дом посреди города вызывает внутреннее разрушение смотрящего. Руина дома, которая может рассказать о себе, своих жителях и пригласить осмыслить боль — совершенно другой контекст. Руинам нашего времени предстоит стать лекарством, которое будет давать людям с опытом утраты родного новые смыслы и понимание, что ты в этом не один. И самое важное — искать выход из состояния руин вместе с такими же людьми, которые пережили «руинирование».

DOI: 10.55167/060574f0a562

Архитектура воспоминания: будущее руин и «руинизация» в современном искусстве

Нателла Тетруашвили

Руина — это вынужденный свидетель истории, нечто разрушенное, обветшалое, фрагментированное, несвоевременное, нечто застывшее между жизнью и смертью.

Обладая большим количеством смыслов, руина как феномен становится поразительно благодатным материалом для самых разных исследований и текстов.

Так, в книге «Архитектура забвения. Руины и историческое сознание в России Нового времени» Андреас Шёнле пишет о руинах блокадного Ленинграда и о том, как очевидцы блокады воспринимали разрушения, пытались ужиться с ними, включить их в свою новую реальность, адаптировать под новый быт. Автор приводит примеры блокадных съёмок, текстов, графики и на основе этой подборки делает вывод, что искусство помогает пережить войну, творчество становится «залогом спасения» для художников, фотографов, писателей.

Но со временем встаёт вопрос: как быть с руинами после кризиса? Фиксировать, консервировать или восстанавливать? Требуют ли они анализа, осмысления, или, напротив, их следует поскорее предать забвению, чтобы освободить пространство для нового, не измученного разрушениями дискурса?

Безусловно, вопросы физического сохранения и ликвидации должны решаться индивидуально в соответствии с ситуацией. При этом полное восстановление и приведение к изначальному виду кажется неуместным, так как подразумевает исключение культурного, социального, политического пластов из современной истории.

Когда же речь идёт о последующем интеллектуальном осмыслении руин, наиболее удачным подходом, как и в тексте Шёнле, может стать обращение к искусству, в частности к со-

временному концептуальному искусству, которое способно проанализировать феномен и ярко выразить основную идею художественным языком.

Работ, созданных на тему руин, множество: это и саморазрушающиеся произведения Урса Фишера, и разрезанные дома Гордона Матта-Кларка, и масштабные полотна с обломками увядающих цивилизаций Ансельма Кифера, и фотографии руинированных кинотеатров Хироши Сугемото, и Рейхстаг художника Христо, будто руина временно укрыта материей в ожидании восстановления, и образы руин Второй мировой, неминуемо всплывающие перед глазами при взгляде на доделанные братьями Чепменами жизнерадостные гитлеровские акварели…

Продолжая направление, предложенное Шёнле, мы ограничимся российским контекстом и несколькими произведениями, сделанными в России или для России.

В тексте Шёнле упоминает рисунки Веры Милютиной, на которых изображены интерьеры Эрмитажа во время блокады. Музей на этих зарисовках совсем не похож на привычный нам дворец: выбитые стекла, люстра на полу, груды с песком и самое пугающее — пустые рамы. Наиболее ценные полотна во время войны были перевезены в Свердловск, но сами рамы решено было оставить на своих местах (впоследствии это помогло восстановить развеску) — по ним в сиротливых залах сотрудники музея по памяти водили экскурсии. Этот сюжет стал вдохновением для японского современного художника-мистификатора Ясумасы Моримуры и его серии фоторабот «Эрмитаж. 1941–2014». На снимках художник запечатлел залы музея, стараясь повторить ракурсы, встречающиеся на блокадных зарисовках. Автор обработал получившиеся кадры в фоторедакторе, убрав из рам картины в память о музейной эвакуации. На нескольких работах из этой серии Моримура появляется сам в тщательно продуманном образе художника военных лет. Вновь опустевшие Большие просветы, залы Рембрандта, Ван Дейка в сочетании с сегодняшними толпами посетителей, с современными яркими красками предлагают зрителю сопоставить суетливое настоящее с застывшим, опустошенным, разрушенным прошлым.

Другим интересным примером работы с темой руинизации можно назвать масштабную инсталляцию Томаса Хиршхорна «Срез». Она была показана в одном из реконструированных дворов петербургского Главного штаба и представляла собой грубо сделанный из картона, скотча, фанеры полуразрушенный пятиэтажный дом. Нижние этажи его были скрыты под завалами, а на верхних двух, лишенных фасада, открылись интерьеры квартир с советской мебелью и оригинальными произведениями художников-авангардистов. Эта работа, сражающая своей грандиозностью, одновременно отсылает и к блокадным военным разрушениям, и к городским перестройкам, и к заключенным в руинах личным или признанным «драгоценностям» (речь может идти как о ценных для мировой культуры картинах, так и о любимой детской игрушке), и к истории Главного штаба, долгое время находившегося в запустении, а сейчас ставшего домом для шедевров изобразительного искусства.

Художники Илья и Эмилия Кабаковы работают с темой руины как метафоры падения советского режима. Например, их инсталляция «Красный вагон» символизирует провалившуюся идею создания Советского Союза. Работа состоит из трёх частей. Первая — устремлённая вверх деревянная конструкция, напоминающая архитектурные зарисовки конструктивистов, отсылающая к началу советской эпохи с её невероятными утопическими проектами, стремлением вместе построить прекрасное общество. Вторая — это сам застрявший вагон без колёс, но с презентабельными пропагандистскими картинами, на которых изображены идеалистические сюжеты из жизни советского человека, и с огромным живописным панно, где в розовых тонах показан пример идеального мира, в котором человеку как единице места нет. Третья часть посвящена перестройке, руинам советской эпохи, которые символически представлены недостроенными конструкциями, мусором, разбросанными красками и кистями, будто строители коммунизма ушли, оставив после себя разруху.

Также можно упомянуть видеокартину Александра Сокурова, представленную на Венецианской биеннале в 2019 году. Это короткий закольцованный видеоролик, на котором пока-

зано разрушающееся несуществующее здание, где наряду с вооруженными людьми присутствуют персонажи знаменитых картин. Работа является частью масштабной инсталляции, посвящённой притче о блудном сыне и её рембрандтовскому прочтению. Сокуров сравнивает отправившихся на военные действия солдат с блудными сыновьями и говорит чувствах отцов, вынужденных наблюдать за руинами, в которые превращается мир их детей.

Эти примеры иллюстрируют, как искусство способно метафорически, многогранно развить тему руины, сопоставить исторические события с современностью, дать возможность зрителю почувствовать себя рядом с разрушениями, показать масштабы катастроф и чувства людей, которых они затронули. Именно такое будущее — интеллектуальное, аналитическое, критическое — представляется для руин наиболее ценным.

DOI: 10.55167/694d0ef50177

Руины. Архитектура воспоминаний. Многократное преломление

Мария Гордиенко

Куда бы вы не отправились по России, если поездка будет сколь-нибудь продолжительной, вряд ли она обойдется без видов заброшенных придорожных домов, которые смотрят мертвыми глазницами выбитых окон. Чем дальше от крупных городов, тем печальнее масштабы разрушений. Это современные руины мирного времени, которые не становятся архитектурной или культурологической потерей, просто выразительный знак социального неблагополучия. Но зрелище это вызывает болезненное чувство опустошения.

И совсем другие ощущения от вида заброшенных строений ко мне приходят в маленькой затерянной деревне, куда добраться можно только грунтовыми дорогами, проезжими лишь в удачную погоду. Это земля моих предков, из тех мест родом отец, мое персональное место силы и тайное убежище. Я ездила туда каждый год за травами, кроме этого последнего, внезапно военного лета. Пожалуй, деревню эту можно уже назвать «бывшей», в ней обитаем только один дом. Остальные дома потеряли хозяев много лет назад. Но, что странно, от зрелища разрушенных домов не возникает болезненного чувства утраты. Природа здесь отвоевывает оставленные территории. Уверенно возвращает себе свое. Прежние фруктовые деревья разрастаются буйно и неудержимо, кем-то любовно посаженная сирень превращается в непроходимые заросли. И бывшие дома постепенно становятся лишь фоном или почвой для этой насыщенной новой жизни. А если там много глинобитных, саманных построек, те на удивление быстро исчезают вообще без следа, отдавая землю земле.

Руины могут стать для нас чем угодно. Болью, зияющей раной, уроком, огромным вдохновением, точкой обнуления

и возвращения к истокам, переключением регистра времен... И главный критерий, влияющий на то, чем они все-таки станут, как мне кажется, — принимаем ли мы внутреннюю логику событий, о которых говорят нам руины, признаем ли естественным ходом вещей? Согласуется ли эта история с нашим чувствованием гармонии жизни? Либо они кричат нам о неоправданных разрушениях, насилии, нарушении этой гармонии, против которых мы внутренне восстаем?..

Руины дают огромную возможность творческого переосмысления информации и эмоций.

Иногда на былых руинах вырастают не только новые здания, но и новые культурные явления.

Когда-то в степях, неподалеку от озера Меотида, греки основали город. Он стал самой северной точкой Боспорского царства, здесь шла торговля между эллинским миром и степняками-кочевниками, и постепенно этот окраинный город на стыке цивилизаций стал уникальным сплавом культур, греческой и варварской.

Ранние восьмидесятые годы XX века. Молодые талантливые поэты юга России, не нашедшие себе места в литературном процессе того времени, обретают неожиданное пристанище на руинах древнего города — в музее-заповеднике Танаис. Директор музея предлагает им работу, а это значит, перебраться из города, иметь необходимые для того времени трудовые документы и спокойно посвятить себя творчеству. В результате группка «литературных отщепенцев» выросла в заметное литературное явление — Заозерная школа южнорусской поэзии. И каждый из состоявших в ней людей получил шанс не затеряться, вырасти творчески и обрести свой голос. Они жили в этом завораживающем преломлении времен, работали на раскопках, доставали спрятанные в земле до поры амфоры и пифосы, прикасаясь к руинам ушедшей цивилизации, которую они отныне считали своей обретенной литературной родиной. Действительно ли ушедшей, если этот фундамент оказался более надежной опорой для творцов и искателей, чем монохромная реальность XX века?..

Возьму на себя смелость привести тексты двух поэтов-заозерников.

Здесь взгляду живому
Откроется город у моря.
Сплетение наречий,
Слиянье кровей и сердец.
А мертвому взгляду —
Лишь пепел да прошлое горе,
Лишь мертвые камни,
Лишь ветер,
Лишь Мертвый Донец.
Осколок судьбы,
Возлежащий средь неба и пыли…
И след отпечатан
В еще не остывшей золе.
До боли знакомый —
Так, словно однажды мы жили,
Так, словно прошли мы однажды
По этой земле.

Г. Жуков

Здесь, под высоким небом Танаиса,
Я ехал в Крым, расстроен и рассеян,
На поиски случайной синекуры.
И у друзей на день остановился,
И дом купил, и огород засеял,
И на подворье запестрели куры.

Здесь под спокойным небом Танаиса,
Я перестал жить чувством и моментом:
Я больше никуда не порывался,
Я больше никогда не торопился,
Возился с глиной, камнем и цементом
И на зиму приготовлял запасы.

Здесь, под античным небом Танаиса,
Зимой гостили у меня Гораций,
Гомер, Овидий, Геродот, а летом
Родные и приятели: актрисы,
Писатели каких-то диссертаций,
Изгнанники, скитальцы и поэты.

Здесь, под ненастным небом Танаиса,
Сначала долго, нестерпимо долго
Терпел я недороды, но в награду
Однажды все рассады принялись, и…
Взошла любовь, Россия, чувство долга,
И наконец, душа, которой рады.

Здесь, под бездонным небом Танаиса,
Перед собой я больше не виновен
В том, что люблю мышленье и свободу.
Вот дом, в котором я родился,
Вот кладбище, где буду похоронен, —
Всего минут пятнадцать ходу.

В. Калашников

DOI: 10.55167/9e7cb16f2a82

Руины без будущего

Вероника Елашина

с грохотом обрушился недостроенный храм

руины религиозного экстаза: сестры в белоснежных и молочных платьях царапают ноги, не замечая остроты камней в обломках. в христововерских сектантских общинах хлыстали себя до изнеможения: ночное радение.
кадильницы, лампады, ризы, оклады икон — здесь всё трепетало, нежилось, изнывалось.
ангельская святость чистоты, покорное служение — неподступность к Божественному. всё совершалось и наполняло.
большевистский хлопо́к разгромления церквей
разграбления церквей
осквернения церквей
национализация православного имущества: изъятие религиозных ценностей, устранение монашеских лиц, превращение храмов в склад-хлев-сарай. казармы, тюрьмы и отделения ГУЛАГа теперь здесь, в намоленном месте: незаслуженное забвение.
Исаакиевский собор немецкая авиация использовали как ориентир, поэтому не бомбила его, сюда были свезены музейные реликвии.
церковь Спаса на Крови обустроилась как морг.
лагерь — в Соловецком монастыре, хозяйственное управление НКВД и женский исправительный дом в монастыре Новоспасском: функциональное изменение святилища,
изгнание
благочестия
из Божьего Дома.
не все сооружения воспряли, отряхнулись, пережили. в них остались безмолвные призраки духовной величавости. запустение, стенание, необратимость. их будущее в дальнейшем угасании, прекращении, окончательном замолкании. посте-

пенное последовательное увядание. выбитые глаза святых
на стенах навсегда утратили свои очи, их одежды отрухлели,
лик растворился.
у руин
будущего
нет.

DOI: 10.55167/dc324c5628c0

Рим. Танго полной луны

Анна Савицкая (Днепр, Украина)

Из-за горизонта взошла луна. Ее золотой диск, монета сената, проявила тени всех погибших в войнах и завоеваниях. Все говорят о закате империй, но что, если за ним придет луна, как она неизменно приходит, ночь за ночью, оставляя лишь самый темный день без своего внимания?

Тепло-желтый тускловатый свет мягко обнимает умерших на их пути в мир иной. Что они увидят? Мы же сквозь оптику обскуры увидим лишь силуэты, удаляющиеся от нас вглубь, в тишину, в омут беспамятности и безвременья. Кто обернется через плечо? Утонет в дымке.

А ты так и будешь стоять тут, наедине с руинами, медленными кораблями уходящими вглубь. В подземелья, затонувшие в океанах подсознания. В симфонии без оркестра. В тиши забвения.

Ты пойдешь за ними. Пройдешь мимо курии, под храмом Юпитера, обойдешь lapis niger, что в своей черноте впитал шаги сотен тысяч таких же проходимцев, как ты, мимо Ростры, где и сейчас гудит безмолвное эхо речей ораторов, мимо дома Весты, через арку Тита…

Шаги будут отдаваться эхом времени, и его пыль слетит с твоих подошв. Базальт и мрамор распадутся на лунный свет. Ты увидишь руины : Индию, Китай, Египет и Рим, увидишь родину и призраки павших. Увидишь гарибальдийцев и призраки Мариуполя. Перед тобой пройдут сенаторы и солдаты, весталки, врачи, знакомые из канвы истории, из веков до момента «сейчас».

Вдруг история перестала существовать. Успокаивающий гранит линейности растворился в тусклом золотом мареве безвременья. Линия превратилась в окружность без конца и начала, без граней и точек.

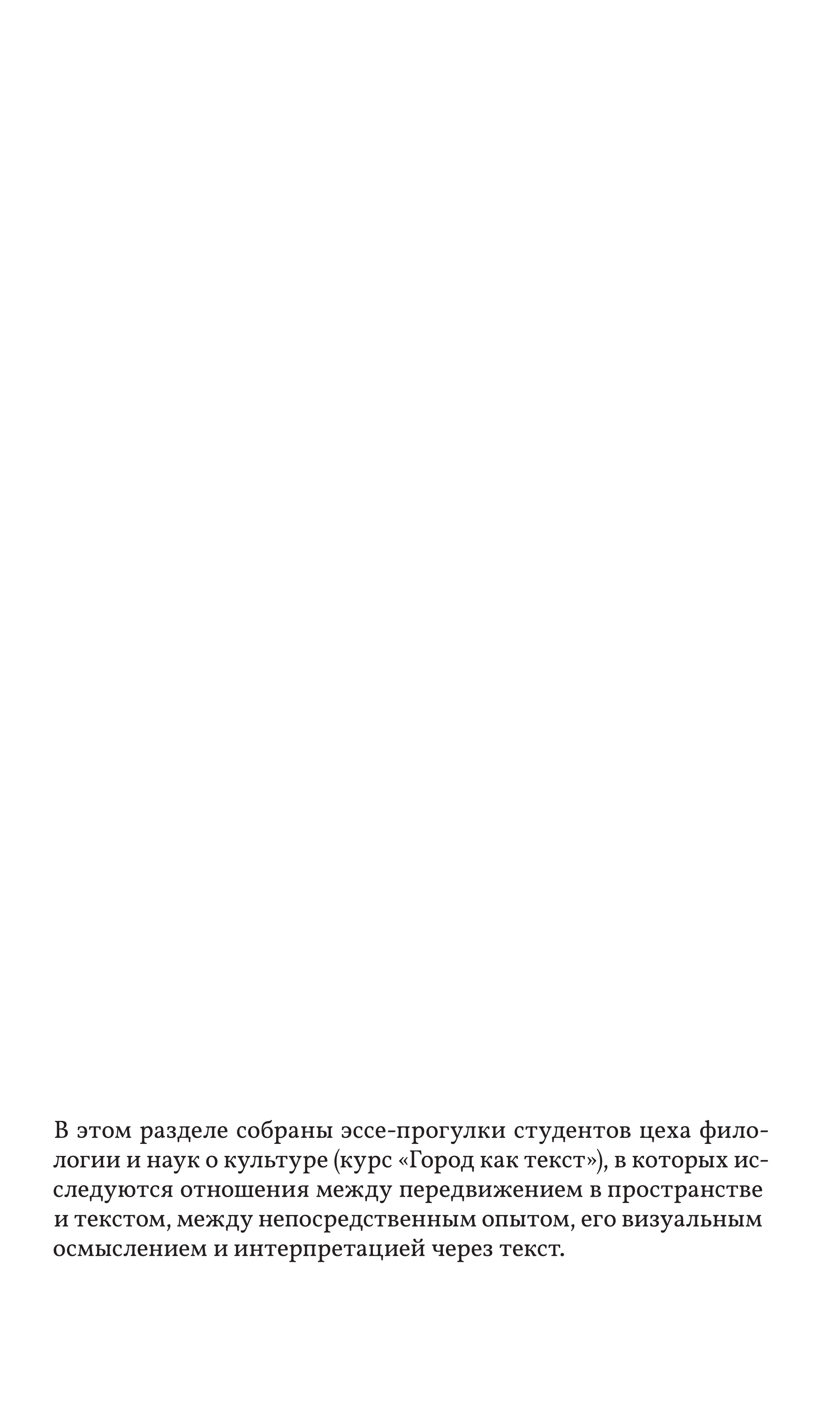
Горько-сладкий аромат пропитал весь воздух. Так отцветают олеандры? Так отцветает лунный свет. Амфитеатр,

омытый его слезами, парит в межпространстве вместе с его призраками. Вместе с *твоими* призраками. И вот на пути, цель и начало которого заключены лишь в складках сферы, ты заметишь, что тело твое — лишь лунный свет, что ты и есть базальт, и мрамор, и кирпич. И ничего больше нет. Воды сомкнулись вокруг тебя, над и под.

И лишь луна наполняет золотую сферу ритмом. Шагами процессии в ритме танго.

DOI: 10.55167/29ea3936535a

Семиотическая прогулка



В этом разделе собраны эссе-прогулки студентов цеха филологии и наук о культуре (курс «Город как текст»), в которых исследуются отношения между передвижением в пространстве и текстом, между непосредственным опытом, его визуальным осмыслением и интерпретацией через текст.

Вступление

Альбина Кунакбаева

По хорошей традиции слушатели курса «Город как текст» Свободного университета публикуют свои тексты в альманахе. Я, так же, как и представляемые мною авторы, посещала вебинары Екатерины Марголис. Когда по окончанию курса выпускникам была предложена возможность стать редакторам определенной рубрики, я выбрала тему «Семиотическая прогулка». Наш курс стартовал весной 2022, и для меня оказалось важным представить все заявленные тексты с минимальной редакцией, поскольку каждый из них является документом современности. Полагаю, через какое-т время эти работы найдут своих исследователей. Я бы воздержалась говорить об эскапизме или внутренней эмиграции, свойственных для нового, да и, пожалуй, для старого романтизма. Поскольку обнародование того, что тебя действительно тревожит, требует усилия над собой и определенного мужества. Многие работы содержат интертекстуальные связи и апеллируют к личному, культурно-историческому и метафизическому опыту. И вопросы, касающиеся последнего самые важные: «Куда мы идем? Зачем живем? Что после нас останется?»

Вьючный мост

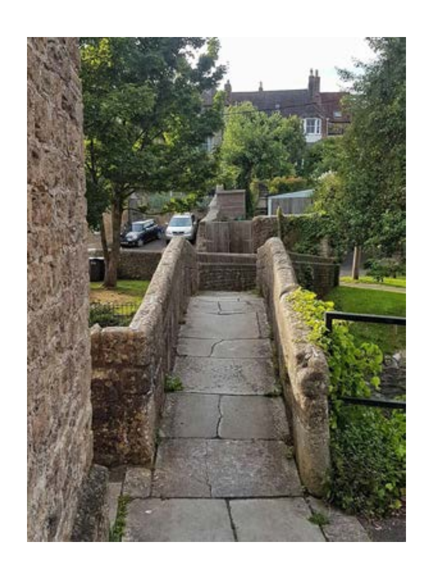
Александр Гунин

Некоторые вещи — это просто вещи, а некоторые в то же время являются еще и знаками. Среди этих знаков есть просто сигналы, есть пометы и атрибут, а есть — символы (*Св. Августин, цит. из кн. М. Пастуро «Символическая история европейского средневековья», 2012*).

Символ для средневекового мышления и восприятия был настолько же привычен, как привычны для человека современного знаки. Мир современности лишен какой-либо тайны, он населен искусственными знаками-сигналами, облегчающими навигацию человека сугубо в парадигме социума: места для родителей с детьми, светофор, переход и так далее. Современные знаки фиксированы и не выходят из пространства социума. Символы же полисемичны, двойственны, изменчивы. Символами могут стать слово, текст, предмет, жест, изображение, поступок. Символ, инкорпорированный в носитель, представляет собой идею, абстрактную сущность. Связан с эйдосом, архетипом. В пространстве средневекового города знаки и символы зачастую могли соседствовать в одном объекте. Скажем, мост для современного человека, он всего лишь инструмент перехода с одного берега на другой. В средневековой Европе этот архитектурный объект был одновременно и знаком, и символом. Один из примеров — вьючный мост.

Вплоть до строительства судоходных каналов в середине XVIII века, транспортировка грузов в Англии осуществлялась вьючными лошадьми. Такие караваны — «грузовики» прошлого — назывались *packhorse trains*. На пути их следования для переправы на другой берег строились узкие мосты шириной, достаточной лишь для прохода вереницы груженных лошадей. Мосты так и назывались *packhorse bridge* — вьючными. Маршруты, преимущественно, прокладывались в средние века. Так что вьючный мост стал отличительным признаком средневекового ландшафта Англии.






На фото автора — *Bow Bridge* (Дуговый мост) в городке Брутон, через реку Бру (*Brue*). Построен в начале XV века. По всей видимости, был частью дороги, идущей из местного аббатства.

DOI: 10.55167/0fc9913486e5

Семиотическая прогулка

Андрей Григорюк

В районе, между тюрьмой и машзаводом, установлен памятник старому грузовому автомобилю. На пьедестале, очертаниями напоминающий тот, на котором стоит памятник Петру Первому в Петербурге. И вот недавно его убрали. Не знаю, когда конкретно. Обнаружил случайно, ехал по делам в Томск, смотрю — а его нет. Он для меня являлся символом в двух смыслах: во-первых, его поставили с соответствующим намерением; во-вторых, конкретно для меня, он был символом полного и окончательного торжества некоего нового мира. В его отсутствии по мирозданию прошла трещина. Наверное, памятник был для меня тем же, чем было Мировое древо в сознании древних людей, или Темная башня у Стивена Кинга, или «камни исполины», что «держат власть» из композиции «Арии» про



Короля Артура. Те же чувства, примерно, испытал я, когда умер один из наших соседей. Как будто мир разделился надвое, и ворвалось нечто холодное и незнакомое. Последнее событие совпало с окончанием подросткового возраста и казалось естественным.

Лет в десять я представлял себя героем боевика, который едет на этой машине. Мне все время хотелось ее угнать. Вообще, этот автомобиль был символом моего детства: когда с родителями возвращались с реки, мы часто проходили мимо него. В последнее время, в связи с известными событиями, я часто вспоминаю детство. Когда везде бардак, человек, наверное, всегда опирается на такие вещи. Этот автомобиль аналогично «мировому древу» связывал для меня два мира. Я уже писал в одном из эссе, что этот район моего детства для меня любимый. Этот автомобиль, как бы, проводил границу между районом и городом, вообще. Он часто снится мне, и в этом столько нуминозного, что передать невозможно. Если существует личный рай, то мой выглядит так.

P. S. В связи с подготовкой к эссе погуглил информацию. Автомобиль отправили в ремонт. Возможно, для желающих вернуть прошлое, известие значило бы нечто, вроде того, что «Король вышел из-под горы» и выступил на параде. Я не хочу возвращения прежнего, но это меня успокоило.

DOI: 10.55167/0d03b9b9a150

Семиотическая прогулка

Анна Савицкая

Выйти на улицу, ощутив под ногами камни: базальт и мрамор, кирпич, туф, травертин, бетон античный и современный, — сложно обойтись одним символом, когда речь идет о Вечном Городе, здесь в бесконечном водовороте застывшего времени встречаются символы, отсылающие нас к любой реальности и эпохе, в любой точке света. В видимом городе пересекаются, тысячи незримых. Я разберу два, которые сочетаясь и разбиваясь друг о друга, формируют здешнюю реальность, ее целостность, как мужское и женское, то сливаясь в единое целое, то разливаясь и перевоплощаясь до неузнаваемости, сосуществуют в мире.

Мария работает официанткой в небольшом баре на *пьяцца делла Магдалена*. Каждое утро десяток столиков в ожидании туристов выползают на пьяццетту. Мария помогает Джанни и Альберто стряхнуть сон с этих четвероногих «циферблатов», любовно протирает их от пыли, кладет на каждый по два бумажных листа — одновременно меню и скатерть. Рядом со столами появляются стулья, они уже ждут своих посетителей готовые услышать сотни историй за день. Некоторые будут повторяться как большинство летних историй в квартале Сант-Эустакио вблизи Пантеона. Другие окажутся, пронзительно печальными или радостными, очень редкими, личными. Мария окидывает взглядом своих пластиковых подопечных, она заодно с этими заговорщиками.

Из-за с *via del Panteon* показались первые туристы. Из тех, кто осматривает Пантеон с утра, пока остальные спят или еще только готовят себе утренний кофе. Молодой человек в белом и девушка в оранжевом сарафане — первые на этой сцене. На пьяцце дела Маддалена, проходя с вида дель Пантеон на *Via del Pozzo delle Cornacchie* (или наоборот, выныривая с узой средневековой улочки в направлении Пантеона) 70 человек из 100 спотыкаются о камушек, выступающий над мостовой. Озорной



камушек «подмигивает» стульям, обещая день зрелищ. Римский камень не дает ответов, он задает вопросы. Этот кусочек базальтовой кладки выдается из общей канвы мостовой, намеренно задавая вопросы проходящим. Вот камушек вырос перед носком белых найков молодого человека, повернувшего голову в сторону церкви, привлеченного завитушками и белым кружевным фасадом. «Ай!», — пара останавливается и смотрит под ноги, затем идет дальше.

К полудню становится многолюднее, каждый второй, споткнувшись, задерживается, остановленной маленькой каменной запятой. Столики уже не одиноки в своем наблюдении, к ним присоединяются люди, наиболее внимательные те, в ком еще жив дух фланерства и созерцания, кто свободен от общения на сегодняшний день, или же те, кто содержит в себе пространство тишины, чтобы слышать вопросы римского камня. Такой внутренней тишиной обладает Мария, она улавливает беззвучный диалог камня, лежащего здесь столетия, и потока человеческих шагов, неизменного в своей текучести, и такого разного внутри каждой отдельной истории.

Вот идет хрупкая девушка-азиатка, с фотоаппаратом, уже ставшим рукой. Рококо Марии Магдалины искрится полу-

денными лучами и отражается в объективе, — вдруг кожаные сандалии останавливает камень мостовой. Вскрикнув от боли, девушка теряет свою лёгкость, на глазах проступают слезы. Спустя мгновение, восстановив равновесие, она продолжает свой путь уже медленным внимательным шагом.

Вот, две бизнес-леди на шпильках, в деловых костюмах, очень увлечены беседой на хорошем английском с британским и итальянским акцентами. Британка спотыкается, теряет равновесие, разговор падает с высоких материй до уровня плинтуса. Магия римского камня спускает с небес на землю. Тут уже оборачиваются люди, проходящие по площади. Помогают подняться. Шпилька сломана. Придется идти босиком по раскаленной мостовой до ближайшего магазина за новой парой, возможно, более практичной обуви.

Кто-то осторожный подходит к камушку, чтобы избавиться от «нежелательного» выскочки, вытащив камень из мостовой, но это не решает проблему, вопрос зависает в воздухе (или брусчатке) сам по себе, являясь теперь не выпуклостью, а ямкой, удерживая дольше попавших в его западню. Камень по-прежнему остается там, вопрошая неосторожных в своей прямолинейно-римской манере: «*Quo vadis?*»

***

Этот базальтовый звук слышится в имени основателя христианского Рима, Петра. Ключи от рая, затвердели в границах догмы, оставляя священную границу помериума где-то в далеком прошлом. Рядом на канализационном люке другой римский символ приобретает очертания богини рода, жизни и воды — Венеры Клоачины, ее воды запирает железная крышка с символом первосвященницы богини — волчицы. Блудница — приемная мать Рима. Да что уж там, даже родная мать Ромула и Рема, принцесса Рея Сильвия, упрятанная в весталки и скованная обетом целомудрия, умудрилась родить двойню от бога войны. Тит Ливий со свойственной римлянам прагматичностью говорит о насилии (от стыда весталка объявила отцом двойни Марса, ведь бесчестье, виной которому бог, — меньше бесчестье). Мать Рима — насилие; мачеха — любовь на

продажу. Тот же Тит Ливий рассказывает, как в пустынно-безлюдной чаще, еще на заре времен были отношения, в которых Марс и Плутос торжествовали в триумвирате с Венерой. «Пустынны и безлюдны были эти места. Рассказывают, когда вода схлынула, оставив лоток с детьми на суше, волчица с соседних холмов, бежавшая к водопою, повернула на детский плач. Пригнувшись к младенцам, она дала им свои сосцы и была до того ласкова, что стала облизывать детей языком; так и нашел ее смотритель царских стад, звавшийся по преданию Фавстулом. Он принес детей к себе и передал на воспитание своей жене Ларенции. Иные считают, что Ларенция звалась среди пастухов «волчицей», потому что отдавалась любому, — отсюда рассказ о чудесном спасении». Мария Магдалина всегда была здесь на особом счету. Лукреция Борджиа была воспитана Римом.

Мария возвращается домой привычным маршрутом. Вначале идет до трамвая, минуя вопросительный камушек и железный люк с волчицей, затем проехав три остановки до средневекового квартала за Тибром в Трастевере, сворачивает в проулок — потом еще раз и, наконец, заходит в дом. Четвертый этаж без лифта. Символы Венеры здесь на каждом углу. Вот почти незаметный бронзовый скульптурный бюст Анны Маньяни из Mamma Roma. Фильм снимал в этом самом районе Пьер Паоло Пазолини. «Анна» — практически ларарий, дух, живущий в нише средневековой инсулы. В конце проулка такая же ниша, но уже с Марией (матерью Исуса). Обе увенчаны цветами, и при лампаде со свечой. Если бы дома стояли ближе друг к другу, эти ларарии могли бы общаться, перебрасываясь словечком жарким летним днем или поздней ночью. Спящий мужской город не услышал бы тихих женских голосов.

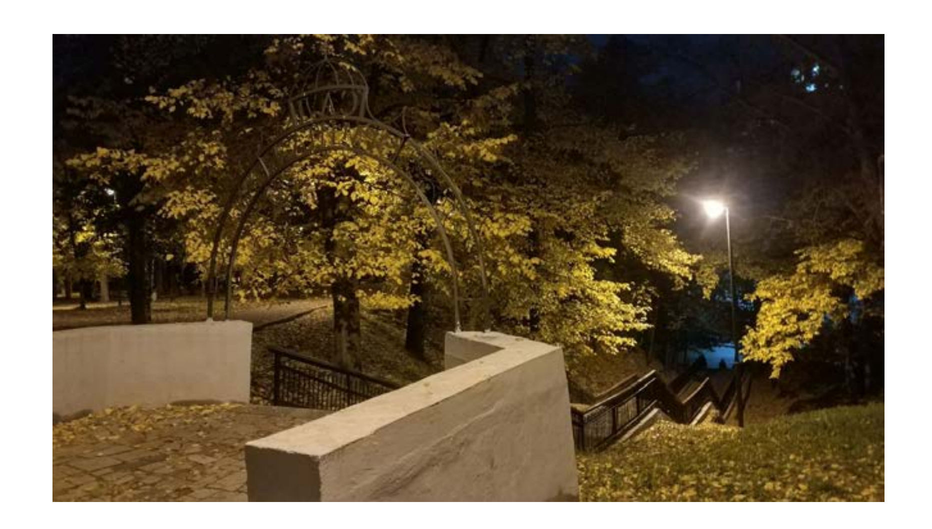
DOI: 10.55167/43cd2d2b899e

Броские иллюстрации портят вкусы. Тайный символ казанского сада «Эрмитаж»

Денис Чернов

Казанский сад «Эрмитаж», более скромный побратим московского, не притязает на статус популярного места для отдыха и прогулок, хотя и ничто, на первый взгляд, элегический садик к его хмурому одиночеству не предрасполагает. С точки зрения удобства для туристов и горожан, «Эрмитаж» расположен, как нельзя удачнее, хотя и в очевидной тени достопримечательностей первой величины, в нескольких минутах ходьбы от площади Тукая (что для казанцев синоним к понятию «центр») и в обаятельном окружении заведений, рассчитанных оказывать гостеприимство посетителям с чеком «выше среднего». Определение «выше среднего» для этого района можно экстраполировать достаточно широко, но не стоит им злоупотреблять и превращать его в расхожую эмблему места. Вместо этого скажу аккуратно, что быть завсегдатаем тех мест сможет позволить себе далеко не каждый. Удивительным островком демократичности, выходящей в город, оказывается, как раз сад «Эрмитаж», но и в этом качестве он обнаруживает странную амбивалентность — притом с изрядной примесью мистицизма (к спиритической тематике мы обратимся в дальнейшем). Как неупокоенный дух, тяготеющий к посмертью и притом не оставляющий живых,

«Эрмитаж» стремится к двуединому существованию в качестве и дворцового парка, и места уединения, в соответствии со своим французским происхождением. Окончательно стать ни первым, ни вторым у него не получается: для придворной культуры он слишком «прост» и «бесхитростен», для темной лирики места одиночества (какими руины виделись Дидро) он «безыскусен» и «приземлен». Источников такого внутреннего разлада два: исторический и контекстный. Сперва я намерен



коснуться темы контрастного соседства «Эрмитажа», прежде всего работающего на эффект отстранения места.

Окрестный район сада (который я про себя именую «маленьким Бруклином» — мимолетная и яркая ассоциация от первой прогулки по нему), несет на себе отпечаток достатка и светскости, но и вместе с этим почтительной старины. Незначительная его территория делает добрыми соседями исторические постройки XIX — начала XX вв. и современные бизнес-центры — (царства стекла и рулонных газонов с декоративными туями за безвкусно вычурной оградой — в их надменном облике уже неприятно сквозит анахроничностью). Советский стадион «Динамо» круглосуточно находится под наблюдением эклектичного дома Кекина; сталинки с их подобострастным неоклассицизмом с боков поджимают привлекательные дома, спроектированные статусными архитектурными бюро; их первые этажи — лакомые кусочки для арендаторов — поделены между кофейнями, ателье индивидуального пошива, европейской сантехникой (ее место вскоре станет вакантным), студией маникюра, брассериями и товарами для дома категории люкс. Академизм музыкального колледжа им. Аухадеева, художественной школы им. Фешина и театрального училища уравновешивается непринужденностью обстановки модных заведений. Студенческие общежи-

тия дышат одним воздухом с полузаброшенной ночлежкой, где, как говорят, одно время жил Горький (и такое, говорят также, неизгладимое впечатление она на него произвела, что он воскресил ее в пьесе «На дне»). Может показаться, что район в округе сада чрезмерно разношерстный и в этой многоликости ему заведомо отказано во внутренней гармонии, но удивительным образом брассерии, цветочные бутики, консерватория и бизнес-центр обнаруживают между собой больше сродства, нежели с самим «Эрмитажем». Оставаясь ареалом обитания преимущественно «надсреднего» класса, район относится к затененному садику настороженно и с недоверием: ничто из атрибутов его поэтичности не способно найти отклик у «по-светски» взыскательного вкуса. Не вдаваясь в иносказания, скажем просто: «Он скучный».

В то же время по окрестным улицам можно повстречать студентов и учащихся после занятий, художников с большими тубусами и папками под формат А0, а также фрилансеров, когда они решают сменить одно заведение на другое — для них уединенный сад-роща мог бы стать превосходным местом для встреч и тихого отдыха. Однако они в нем не задерживаются: его одиночество почти беспросветно, а лирика — сурова и холодна, словно «Эрмитажу» в сласть упиваться собственным отшельничеством. Внимание перетягивает на себя более дружелюбный и открытый Лядской садик, который горожане любят (а туристы до него не доходят). Там мы и встречаем всех тех студентов, учащихся, фрилансеров, а также обычных прохожих: они сидят у фонтана в центре Лядского, либо в сосновой роще на лавках рядом с памятником Державину. А когда вечереет, и смягчается летний зной, и золотистый отсвет ласково падает на кроны деревьев, дорожки вкруг фонтана наполняются самыми разными людьми. Я не вслушиваюсь в их разговоры и редко обращаю внимание на выражение их лиц, но когда садик внезапно загорается озорными огоньками гирлянд, то невольно, украдкой, заглядываешься на остальных, чтобы увидеть в их глазах, что и они разделяют с тобой это мимолетное радостное изумление, в котором больше чувства со-причастия со-бытию, чем эстетического переживания. И я с легким сердцем замечаю, что хотя бы этот слой цивилизации еще

не отравлен одержимым поиском предателей, и для людей переживание опыта принадлежности, включенности, интегрированности все еще исполнено глубоких невыразимых чувств. Кто знает, может быть, ради присутствия при свершении этого несерьезного ритуала они и стягиваются вечером к фонтану.

«Эрмитажем» правит безвременье. И в этом есть своеобразная ироническая установка. Как известно, ритуал формирует коллективную идентичность за счет воспроизведения событий, относящихся к мифической пра-истории общины. Участники процессии повторяют те же действия, что и их далекие предки легендарного времени, воспроизводят и утверждают новый социальный, метафизический и природный порядок. Таким образом упраздняется историческое время, каждый присутствующий при свершении ритуала обнаруживает себя со-временником событий легендарных времен Начал, а также их непосредственным свидетелем. Но если в ритуалах решающим остается преодоление исторического времени, то в «Эрмитаже» оно уже оказывается преодоленным, ничто в его отчужденном облике не несет на себе приметы какого-либо времени он закапсулирован в неопределяемом моменте, не соответствующем ни одной точке временной оси. Он обтекаем потоком времени и таким образом ему не принадлежит, но и не отсылает к событиям легендарного, метафизического характера, что могло бы стать почвой, отправной точкой для конструирования его локальной идентичности. Попадая в пространство «Эрмитажа», становишься участником со-бытия, отрицающего событийность, в принципе. Тоскливое безвременье лимба — ближайшая тому аналогия.

Если «Эрмитаж» остается местом без отчетливой идентичности, то ситуация резко меняется, когда мы переходим в область городских легенд. Здесь репутация сада безвременья оказывается устойчиво связанной с нечистыми силами. В первой половине XIX в. на месте «Эрмитажа» располагалась усадьба помещика Ворожцова — человека непростого нрава, отличавшегося вспыльчивостью и жестокостью. Рассказывают, что помещик, когда был не в духе, за малейшую провинность засекал своих крестьян или слуг до смерти, а затем тела хоронил без отпевания в районе нынешней улицы Щапова. По

легенде, одной из жертв помещика стал его собственный сын, по неудаче угодивший под горячую руку отца.

Дурная слава Ворожцова, которую он стяжал себе жестокостью и хладнокровием, быстро распространялась среди горожан и других помещиков, Поэтому когда в 1848 году, уже после смерти Ворожцова, усадьба сгорела дотла, то территория ее, хотя и была поделена между соседними имениями, в дальнейшем застроена не была. Рассказывали, что по ночам на территории усадьбы часто появлялся странный туман, в котором угадывались очертания засеченных крестьян и слуг. Стоило двинуться в его сторону, как туман резко дергался с места и вскоре растворялся.

Интересно, что легенда о призраках Ворожцовской усадьбы жива до сих пор. Риелторы признаются, что их клиенты неохотно рассматривают квартирыв районе «Эрмитажа», поскольку не хотят, чтобы в новом жилье обитали неупокоенные духи.

Преодолеть суеверные предрассудки не удалось ни разу. До 1900 года, когда цирковое семейство Сур открыло в саду манеж, и здесь стали проходить представления гастролирующих трупп. «Эрмитаж» старались обходить стороной. В дореволюционные годы в саду также появилось кафешантан и летняя сцена, но и они не прижились. Самые интенсивные изменения с садом происходили в 20-е и 30-е годы. При советской власти, когда «Эрмитаж» стал центральным местом для отдыха, где сосредоточилась культурная жизнь города. Так, в саду появилась летняя сцена, на которой выступал Шаляпин. Построили библиотеку, театр, давали выступления творческие коллективы. Окончательно из «Эрмитажа» жизнь ушла в годы войны, а затем функцию главного городского пространства для отдыха перенял парк Горького. Планы по переустройству сада, хотя и разрабатывались, и даже были утверждены в 1961 году, осуществлены не были. С тех пор над «Эрмитажем» сомкнулся купол атемпоральности.

Память о темной истории рощи-сада воплотилась в городских легендах, рассказывающих о духах, привязанных к нему. К крестьянам и слугам добавились другие персонажи



с трагической судьбой. Казалось, будто репутация «Эрмитажа» сама притягивала к себе новых покойников.

Попытку[1] переосмыслить тяжелое наследство сада в 2018 году предпринял местный художник Альберт Закиров. В уединенных местах «Эрмитажа» — вначале в трещинах на стволах деревьев, а потом и на асфальте — стали появляться изображения «духов» и языческие орнаменты, заметить которые невнимательному прохожему довольно трудно, но в этом и заключается задумка. Художник объяснил свой замысел желанием проявить духов-хранителей места, а их недоступность — спецификой стрит-арта. Уличное искусство,

1. URL: https://inde.io/article/29170-ya-starayus-chtoby-risunki-ne-bylo-vidno-eto-moi-taynye-mesta-parkovaya-mifologiya-alberta-zakirova.

по его словам должно выступать в гармонии с природными формами, не перетягивая внимание на себя, а взаимодействуя с уже существующим. Такие же требования предъявляются к композиции рисунка и цветовому соотношению: «*Я считаю, что стрит-арт должен быть неброским: рисунок, если он на дереве, не должен выпирать, он должен дополнять форму — это самое важное, не нарушать гармонию природы. Особой разницы между деревом и холстами для меня нет, просто дерево больше диктует свои условия, а на холсте я делаю что хочу. Но и в картине — все должно быть внутри. А броские иллюстрации портят вкусы: многие думают, что чем ярче, тем красивее*».

Пока отношения горожан с «Эрмитажем» не складываются. Более привлекательные окружающие заведения и своеобразная репутация, продолжающая жить в историях о духах, удерживают между ними дистанцию. Вполне возможно, что подозрительность и недоверие можно будет сломить, если интерес к саду привлекут местные художники или городские активисты. Если сейчас локальная идентичность «Эрмитажа» в основном определяется памятью о забитых крестьянах и легендами о беспокойных призраках, то новой точкой кристаллизации в переформатировании образа места может стать постепенный отход от представлений, что по ночам здесь расхаживают мстительные мертвецы, в пользу нового мифа о скрытных, но благожелательных духах, присматривающих за садом и тайно передающих его богатую историю.

DOI: 10.55167/952965bb430b

О знаках и знаковых местах

Катя Дмитриева

Об Англиканской церкви Святого Андрея в Вознесенском переулке я узнала год назад. В телеграм-канале «ну да москва»[1] журналист-краевед Вова Раевский опубликовал фотографию неожиданного наслоения культур и времени в Тверском районе с подписью:

> Лично нам очень хочется в Англию

Мне тоже очень захотелось, поэтому я поделилась с подругой своим открытием, и мы поехали изучать его вживую.

Через месяц — 6 июня 2021 года — я вернулась показать церковь еще одному человеку. Когда меня что-то сильно впечатляет — мне важно разделить эту эмоцию удивления, восхищения, очарованности, пронести другому. В этот раз была открыта библиотека, и мы взяли несколько книжек на английском.

Следующая встреча случилась через год, 1 июня 2022. Церковь не изменилась и выстояла год, а вот мы, кажется, не совсем. Готические пинакли храма виднелись за деревьями с Вознесенского и давали почувствовать, что ты находишься *здесь и где-то еще*. Желаемое *где-то еще*.

Сегодня я снова здесь — ищу символы и знаки, спрятанные в архитектуре Нила Фримана. Иду вдоль изгороди, за которой сад — а в саду люди укрываются от солнца. На каменных воротах с двух сторон нарисованы кресты Святых Георгия и Андрея. У входа встречают терракотовые скульптуры Архангелов Гавриила и Михаила, которые держат цветки чертополоха — шотландский геральдический символ. На главных воротах выкован символ, но не разберу какой (роза?). Захожу внутрь и направляюсь знакомой дорогой в «English bookshop». На шкафу по-прежнему висит объявление:

1. URL: https://t.me/nudamoskva.

This cupboard is especially
for the use of
St Andrew’s Saturday school.

Подумала: как много изменилось за год, а эти книжные полки по-прежнему стоят на своих местах и деревянный пол так же скрипит. «Надо же — Джудит Керр!» — Среди неизвестных названий увидела последнюю книгу автобиографической трилогии «A small person far away». Взяла на память.

DOI: 10.55167/bb731e65c170

Семиотическая прогулка

Марина Муратова

Как объяснительной запиской к явлениям окружающего мира появились религии, так же зародились и знаки. Но их суть, скорее, не поясняющая, а подражающая. Например, и тысячелетние символы звезд, и другие символы, складывающиеся из прямых и причудливо изогнутых линий, говорят о каноничности представления человека о том, что зашито стежками в его жизненном опыте.

Я карабкаюсь в горку по малоизвестной дороге к отчему дому и встречаю давнишнего «знакомого». Своей краснотой он отдает дань памяти коммунизму, своей формой он тяготеет к силуэту Солнца. Белая полоска, горизонтальным почти-диаметром разделяющая эмалированный металл на полукруги, напоминает больничный бинт. Будто дорожный знак «кирпич» связывает все свои образы этим «марлевым куском» воедино.





С детства он был для меня загадкой: «Как же так?! Дорога есть, а проезда — нет...».

Только пеший, набредший на этот эфемерный путь, имеет роскошь идти дальше. Значит ли это, что сегодняшний город дает больше привилегий пешеходам? Широкоплечие собянинские тротуары будто бы являются неоспоримым тому доказательством. Но неисчисляемые полосы МКАДа, бесконечные шоссе и эстакады размахом асфальтированных рук заявляют о преимуществе автомобилистов.

Для кого же создан город?

По-настоящему он откроется только тому, кто перебежит дорогу под красным силуэтом стоящего в светофорном окне человечка. Тому, кто, с опаской озираясь по сторонам, надавит на педаль газа под красным круглым «кирпичом», стоящем на горке.

Я не подбиваю к нарушению административного кодекса, но, может быть, этим красным цветом город сам маркирует жителям маршруты — тогда перед каждым встает вопрос действия или противодействия, и, исходя из выбора человека, город поворачивается к нему определенной стороной.

DOI: 10.55167/b4923cdc14d5

Семиотическая прогулка

Мария Долгачева

Каждый день шагаю одним и тем же маршрутом: выйти из подъезда — засунуть в уши бусины наушников; обогнуть дом — выбрать книгу, запустить трек; войти в парк — засунуть руки поглубже в карманы, насупиться и — вперед. Это неизменные вводные, как и размашистая буква «Я», которую я рисую ежедневной прогулкой. Рисую, правда, навыворот: начинаю долгим и легким, с левым уклоном, спуском; потом два раза для отчетливости описываю колечко вокруг заброшенных детских садов, и только потом иду коротким коленцем до стадиона. Иногда, впрочем, если на стадионе время подкачанных молчаливых мужчин-футболистов (а не шумно и безвкусно матерящихся подростков-баскетболистов!) — добавляю на выставленную ножку «Я» пару-тройку колечек поменьше: «Подумаешь! «Я» тоже играет в футбол!»

Есть на маршруте и переменные. Во-первых, непонятно, в какой момент согреюсь от ходьбы, перестану сутулиться и выну руки из карманов. Это важно, потому что свободным телом удобнее пританцовывать, а руками можно махать, беседуя с рассказчиком. Или даже помогать себе говорить. Иногда вместо книги разматывается урок иностранного языка, и нужно отвечать вслух на вопросы. Не думайте, никто ни от кого не шарахается: наш парк полон милых дружелюбных людей, разговаривающих с невидимыми собеседниками. Большинство людей тоже в наушниках. Поскольку предсказать момент активизации диалога невозможно, он относится к наиболее частым маршрутным переменным.

Есть переменные в пределах дня. Население детских площадок. например: утром это мамы с колясками, что отвели детей постарше в школу и досыпают на ходу, или прикорнув на лавочке. С полудня — младшие школьники: их разводят по домам бабушки и няни, а они звенят и свистят как стайки ласточек. С трех площадки заняты старшими школьниками:

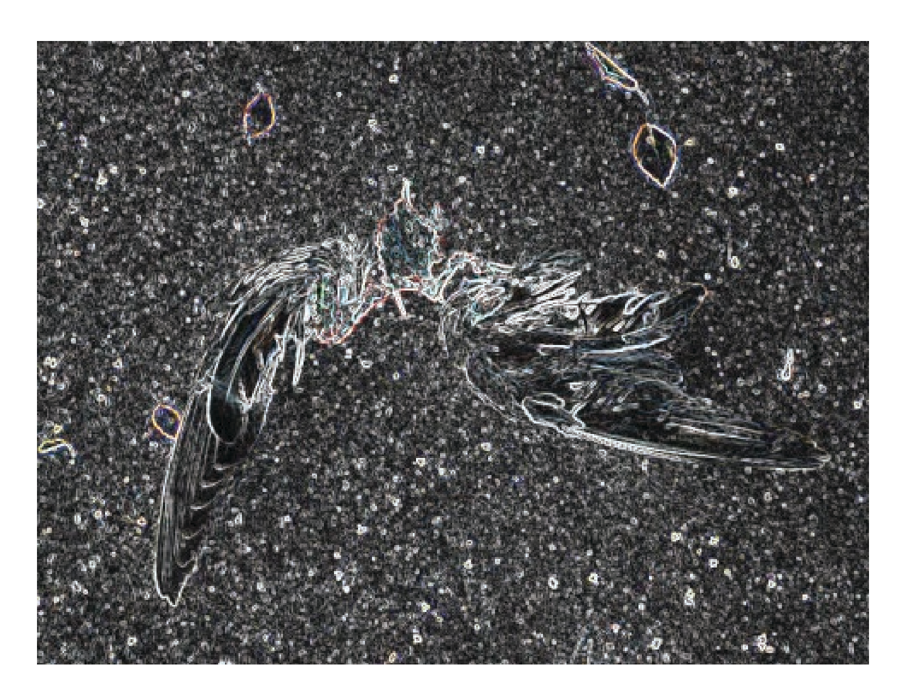


Фото unico-unicornio.livejournal.com

эти идут без сопровождения, расшвыривают портфели и пакеты со сменкой по углам, и — нет, почему-то не курят. Для курения, наверно, у них припасены другие места. Ну и часов с пяти — и до темноты, наблюдается полное разнообразие возрастов и сопровождающих, а также самокатов, велосипедов и скейтбордов.

Сезонные переменные. Это не снег или цветущие кусты, хотя, и это тоже, но - продавец ягод. Как только устанавливается тепло, в той точке, где у «Я» заканчивается колечко, а в коленце, наоборот, начинается, появляются столы. На них — прозрачные пластиковые короба с сезонной ягодой. Вчера были клубника, абрикос, черешня. Каждый раз прохожу мимо, но ни разу не видела, чтобы покупали Любопытно: кто покупает, и как? За наличные? Переводом? Тайна. Проходя эту точку, каждый раз, отвлекаюсь. И каждый раз напрасно.

С некоторых пор на маршруте появился еще один знак. Странное дело: он довольно сильно выделяется, оставляя при

встрече эмоциональную заусеницу. И все равно, каждый раз я вижу его словно впервые. Этот момент узнавания того, что только что было прочно замаскировано под разной мысленной шелухой, и вдруг выпрыгивает перед тобой со всей своей очевидностью — специфическое ощущение. Не поймите неправильно, ничего такого. Просто голубиные крылья. Да, отдельные от голубя. Вернее сказать, от голубиного подростка: размах не широк, остатки перьев не потрепаны жизнью. Крылья лежат на асфальте, будто оброненные, но одновременно и вычурно: так рисуют на муралах огромные яркие крылья, чтобы люди подходили, примерялись плечами, фотографировались и выкладывали в инстаграм.

Каждый раз вслед за рывком узнавания меня накрывает удивление. У нас весьма приличный район — вон, всего пара пустых бутылок на газоне, да пакет шуршит на дереве, но, в целом, дворники работают хорошо. А эти злосчастные голубячьи крылья лежат неубранные. Как заколдованные. Уже больше месяца.

Специально оставляют? Обходят стороной? Не трогают ни дворники, ни кошки, ни муравьи, ни бесстрашные дети с палочками, разбегающиеся по домам из расположенного рядом детского сада. Но зачем?

Это знак? Чего? Кому?

Может, они ждут меня? Может, это я, каждый раз проходя мимо, принимаю решение: пусть остаются так, неизменными, несдвижимыми. И значит, это мне брать палочку и копать ямку для крыльев в плотной безжизненной грязи газона? Мрак какой-то. Не буду.

Пусть лежат. Живые или неживые, крылья должны быть. Вдруг кто-то будет искать — а вот и они, ждут распростертые, пожалуйте!

Только мне кажется, что сегодня волшебство сломается. Я же запомнила, описала их текстом, вывела из тени.

Что будет? Что значит? Не знаю.

Сегодня пойду опять.

DOI: 10.55167/3578751a02be

Семиотическая прогулка

Наталья Морозова

Меньше — лучше?

Похоже, уличные райтеры положительно отвечают на этот вопрос. Культура тэга — быстрой надписи на городском объекте, содержащая чаще всего псевдоним автора или группы, говорят, зародилась в молодежных бандах США. Утверждение, что этот ритуал пошел из банд — скорее всего, лишь способ стигматизации такого средства самовыражения, коммуникации, приравнивающей его к криминалу. Вандализм, все-таки,



Фото автора

порча городского имущества! Как человек неравнодушный к городу и урбанистике могу сказать — возможно, он один из немногих оставшихся у людей способов присвоить себе городское пространство и высказаться в регулируемом, выхолощенном мегаполисе вне зависимости от принадлежности к той или иной социальной группе. И не было бы резонанса, если бы «хулиганы-каллиграфы» оставляли манифесты в духе «здесь был…», или нечитаемые клубки маркерных линий, … или классику из трех букв. Но они смущают добропорядочных граждан возмутительными вопросами, нарушая покой бессознательной повседневности. «ЗАЧЕМ», — гласит каверзная, как гром среди ясного неба, надпись. Вопрос или утверждение? В любом случае, проще отмахнуться, чем ответить, а лучше закрыть краской-заплаткой и идти дальше. Не оглядываться. Не брать в голову.

Меньше — лучше.

DOI: 10.55167/95bf38e118c7

Семиотическая прогулка

Натела Тетруашвили

Я хочу рассказать про символ, на который наткнулась на своей ментальной прогулке по Петербургу. Выбор в пользу путешествия в воображении / памяти / Интернете подкреплён тем, что упомянутый символ и сам относится к области нереального, так как является порталом в виртуальное пространство. Недалеко от моей последней петербургской квартиры в одном из дворов можно найти такое изображение: в трёх треугольниках нарисованы некие числа, буквы, линии. Похожие отметки оставляют коммунальщики, чтобы указать на расстояние до ближайших инженерных сетей: водопроводов, гидрантов, газовых труб и прочее.

То есть, на первый взгляд, мы имеем дело с языком, системой символов и знаков, который используется определенной группой людей, занимающейся обслуживанием зданий и придомовых территорий. Я не была уверена, что эти обозначения настоящие, и понадеявшись их расшифровать, отправила символы нескольким специалистам. Они ответили: «Мы такие отметки не оставляем, попробуйте уточнить у других служб». Вскоре выяснилось, что это выдуманные знаки, замаскированные под коммунальную символику (любопытно, ведь получается, что сами носители этого коммунального языка толком его не знают, они не уничтожили несанкционированные обозначения, хотя, именно это и является частью их работы).

Так что же это за треугольники? На самом деле, это специальные метки, по которым можно восстановить утраченные стрит-арт произведения. Арт-группа «Явь» создала мобильное приложение с картой, где указаны локации известных закрашенных граффити, выполненных как самой группой, так и другими стрит-арт художниками[1]. Сейчас в программе можно увидеть работы из Москвы, Петербурга, Таганрога, Нижне-

1. AR Hunter. URL: http://arhunter.org.

го Новгорода, Екатеринбурга, Иркутска (существуют также спецпроекты с более широкой географией). Открыв в приложении карту любого из этих городов, можно увидеть локации, где было закрашено стрит-арт искусство.

Выбрав одну из предложенных точек на карте, мы открываем подсказку, которая поможет увидеть утраченную работу. На экране появится символ, который необходимо найти на месте, где раньше было граффити - это может быть настоящая или выдуманная пометка коммунальных служб, существующая вывеска, служебная табличка, дорожный знак. Если мы наведём на него камеру в приложении, на экране телефона возродится закрашенное произведение (сейчас приложение используется и для работ, которые не существовали в действительности, и изначально создавались для виртуальной реальности). Например, описанные мной выше значки делают видимой картину арт-группы «Явь», на которой изображена сцена из балета «Лебединое озеро».

Это изображение само является символом, оно отсылает к августу 1991 года, когда во время путча по телеканалам несколько дней транслировали знаменитый балет. Создание граффити было приурочено к инаугурации президента в 2018 году. На своей странице в Инстаграм арт-группа «Явь» так прокомментировала появление новой работы: «Сегодня инаугу-



рация президента. Мы нарисовали сцену из балета «Лебединое озеро», который стал символом событий августа 1991 года. Обычно к своим работам мы пишем довольно объемные тексты, раскрывающие их тему. И хотя нам есть что сказать, в этот раз мы не будем этого делать, потому что это наверняка глава 29, статьи 280 и 280.1 УК РФ. Поэтому лишь отметим, что лучше бы сейчас показывали „Лебединое озеро". Одновременно на всех телеканалах. #явь #yav_zone».

DOI: 10.55167/104d5917cdde

Семиотическая прогулка

Оксана Винокурова

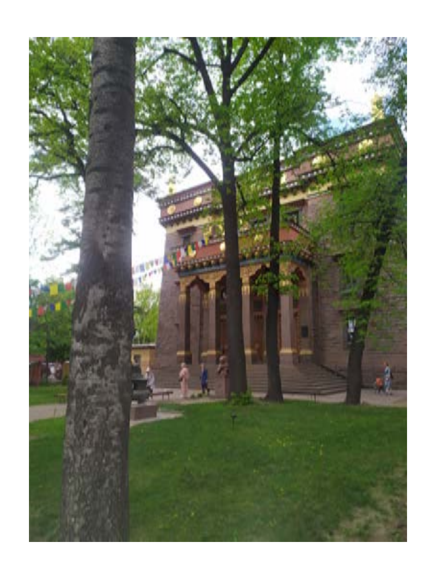
Материальное воплощение игры самой жизни — знаки значения, значения знаков. Вначале была идея идти на городское кладбище — там знаки рядами. Значение, которое имел человек для других, превращается в знаки. Правда, на старом петербургском кладбище оказалось не все так стройно. Куда-то делись знающие люди, которые могли бы подсказать, как должны быть расположены могилы — все пошло наперекосяк. Бардака добавили старые захоронения: где покосились, где завалились, где неуклюже сползли в канавы, выбились из рядов. В общем, кладбище — хоть, и место, где знаков много, но значений осталось мало. Везде одно: когда жил, когда умер, как звали. Только изредка скудные упоминания о том, как жил. Вот-де, профессором был. Или любил его кто, может быть, конечно, и не по-настоящему. На кладбище не столько знаков, сколько истории.

Пока не придумала, какие знаки мне были нужны, продолжаю искать. Знаки не заставили себя ждать. По пути в парк увидела буддийский храм. Забыла, что он здесь. Обрадовалась. Вот так знак! Иду к воротам. Внутри дворика люди: я в одну калитку — закрыто, в другую — закрыто. Не пускает буддийский храм. Накатила обида. И вдруг табличка, как пройти ко входу. *Это знак? О чем он? Надо остановиться и осмотреться*? Иду, тревожусь, не знаю, как вести себя в храме, боязно — не буддистка я.

Захожу, там правила: что делать, куда идти. *Знак? О том, что всегда есть правила?* Пошла, как было сказано, по часовой стрелке. Навстречу люди. *Знак? Они нарушают правила? Что лучше, следовать правилам или нет? Как относиться к таким людям?* Выбираю «относиться по-буддийски». Выхожу.

За оградой оживленная улица Савушкина. Не пойму, мне здесь спокойно или нет. Присела на скамейку перед входом. У входа скульптуры львов, символизирующие желания и страсти, которые должны обуревать людьми. Сплошные оскалы, такие львы, конечно, никем «обуревать» не могут. Рассматриваю

застывшие «страсти» ближе. У лап льва лежат киндер-сюрприз, две конфеты и пахучая гвоздика. Подношения. *Знак? Зачем задабривать «страсти», если они всего лишь скульптуры?*









Фотографии автора

Здание храма старое, построено в 1905 году. Из открытых окон подвала «тянет» этими 115-тью годами. А на окнах первого этажа висят камеры. *Знак? Кто наблюдает из окон буддийского храма? Тот, кто отвечает за безопасность, или «всевидящее око»?*

Знаки, символы, высказывания навели на мысли, ощущения и отпустили. Я пошла дальше, придумывая на ходу свою реальность, пока есть такая возможность.

DOI: 10.55167/ebd521c9420f

Семиотическая прогулка

Энже Дусаева

Я не помню, когда именно у меня появилось ощущение, что все вокруг подает мне знаки, дабы я однажды вольно или невольно разгадала их. Я себе напоминаю сыщика-исследовательницу, собирающую улики по крупицам в общую картину. Иногда я слышу ироничные высказывания, мол, и как ты определяешь, знак это или нет. Как ни странно, бывают моменты, когда разум полностью отключается, и я доверяюсь своему телу, ощущениям.

Дагестан — место, за которым тянется большой шлейф ожиданий: Шамиль и чеченские войны, кавказская, исламская республика и особенное отношение к женщине…. Когда я приехала в село Хрюг, то поняла, что у меня нет опыта ни визуального, ни тактильного осознания такого пространства. Оно удивительно похоже на маленькие итальянские городки в горах и вместе с тем я каждый раз понимала, что больше схожести, скорее, на интуитивном уровне, и больше разности на визуальном.

При первом знакомстве с любым селением в Южном Дагестане замечаешь годекан — общественный центр, представляющий собрание мужчин в центре села или в одной из макалей (приходов, кварталов), если село чуть больше по размеру, где мужчины эмоционально, жестикулируя, обсуждают насущные вопросы, играют в карты, домино. Сначала я думала, что они собираются только вечерами, но оказалось, рано утром, с шести (может быть, и раньше), они уже на посту, но проверитьэтотаки не пришлось.



Горные селенья предстают лабиринтами улиц и домов, сворачивающих в самых неожиданных местах, образуя целые фракталы, где-то спускаются по направлению рек и ручьев, где-то подчиняются логике, их выстроивших хозяев. Странные выпуклости в виде заплаток на некоторых домах похожи на выпирающие кувшины или рукава. Лишь попав внутрь одного такого дома, с удивлением обнаружила, что это михраб — ниша в мечети, направленная на Мекку. Такой михраб я видела впервые, хотя сама из мусульманского региона. С тех пор каменные «кувшины-юбочки» безмолвно свидетельствовают о времени. Когда-то в этих сто-двухсотлетних домах размещались мечети. Воображение рисует оживленное селение со множеством макалей (многие богатые рода имели свои мечеть и кладбище).

Аулы Юждага, так Южный Дагестан называют жители, обогреваются кизяком, заботливо складируемым за оградой. Из-за его «стен» издали дома напоминают сказочные строения и средневековые крепости. Но нос возвращает к реальности, достраивая картину быта.

Плыву по улицам Хрюга, скольжу взглядом по потрясающим видам гор, домов, отмечаю, что звезды на террасе отсылают не к советскому прошлому, а к Исламу — рядом с ними всегда полумесяц (не такой как в Казани). К своему удивлению не вижу ни одной вывески на лезгинском (в месте компактного проживания лезгин). Кажется, их идентичность сжалась до собственных имен и топонимов…



Лезгинские селения прекрасны своей природой, жителями, видами, открывающимися случайному туристу. Через мгновение проваливаюсь, как Алиса в Зазеркалье, на другой уровень этого особого мира, где меня встречают женщины.

Именно встреча с ними оказалась неким переходом, когда из Чужой я становлюсь Другой, и меня безопасно приглашать в дом (неопасно не в физическом смысле). Лезгинки открывали другой мир, приближая к «своим», помогая перейти из публичного в частное пространство. Лезгинские женщины, старше тридцати пяти, не выезжающие из своих сел, зачастую с трудом говорят на русском. Русский для них избыточен. Он язык внешней, мужской коммуникации. Слова приветствия перетекают в песню из слов, о значении которых можно лишь догадываться. Отчаянно подбираю общие корни тюркских языков, но это слабое подспорье. Я отдаюсь потоку музыки, силе ветра и закоулкам души и селений Южного Дагестана.

DOI: 10.55167/de8a5228a4a3

Мир и война.
Двойная оптика





В этот раздел вошли эссе преподавателей и друзей Свободного университета, в которых они смотрят на свои города в двойной оптике мирной жизни и идущей войны.

Вильнюс

Ася Штейн

Как ни странно, я практически никогда не бывала в Вильнюсе. Лишь однажды проездом в отрочестве. Моей Балтией была строгая холодноватая Рига с ее готикой и югендштилем, переменчивым взморьем, четкой графикой улиц, продуваемых в любое время года свежими морскими бризами. Мы любили ее такой — аккуратной и четкой, строгой и непреклонной. Вильнюс, к моему изумлению, оказался иным — более изящным и игривым, витиевато-барочным. Лабиринт его улочек заманивает и затягивает в свое причудливое переплетенье, чтобы, побродив полчаса без цели по уютнейшим дворам и подворотням, ты вынырнул внезапно к уже знакомому собору или мосту.

Старый город отреставрирован деликатно и без пафоса: бывшее бедняцкое жилье превратилось в уютные тихие кварталы с маленькими красивыми домиками, где почти в каждом дворе столик с парой кресел и свечами-фонариками, забавные граффити, рукодельные садовые скульптуры.

На стенах бывшего еврейского квартала, жителей которого постигла та же трагическая судьба, что и всех жителей всех еврейских кварталов Европы, деликатные муралы: силуэты жителей, словно тени, все еще обитающие в узеньких улочках: пара худеньких мальчишек-подростков, разносчик с тележкой, пожилой цадик, почтенная дама. Память о Холокосте бережно воссоздана почти из небытия. Память, как и рукописи, не горит даже в огне крематориев концлагерей.

Вильнюс красив и уютен, но без показухи и глянца, как мягкие домашние тапочки и теплый, чуть потертый плед; он накрывает тебя и окружает теплом и заботой. Со второго раза тебя узнают в ресторанчике, булочной, аптеке на углу квартала. Вежливо терпят твои корявые попытки выразить несложные мысли по литовском: «простите, пани, я еще только учусь», терпеливо переходят на русский или английский. Но, кажется,

искренне рады твоим попыткам хотя бы поздороваться или поблагодарить по-литовски.

Я спасаюсь Вильнюсом от тоски по дому, тревоги за будущее, страха войны, которую вроде почти не ощущаешь в этой полной скромного достоинства небогатой европейской столице… Но в миграционном центре целый этаж выделен для граждан Украины. Встревоженные усталые лица, потухшие взгляды, напряженные руки. И невероятная доброжелательность персонала, спокойно и терпеливо разъясняющего особенности процедуры, помогающего всем и каждому. Солидарность с Украиной чувствуется везде: украинские флаги тут не только на государственных зданиях, но и на частных домах и балкончиках, граффити во дворах — тоже часто про Украину и украинцев. В городском транспорте на каждой остановке доброжелательно напоминают по-украински, что проезд для граждан Украины бесплатный. Для меня это не просто информация о муниципальных льготах. Это о щедрости и гостеприимстве тех, кто и так небогат и живет в тесноте, но готов потесниться и поделиться с теми, кому сейчас по-настоящему плохо.

Как закончить? Здесь должна быть какая-то мораль, хлесткий и яркий финал, но его нет. Потому что нет пока что, увы, финала в жуткой и бессмысленной войне. Потому что вместе со своим домом мы утратили прошлое, но не обрели будущее. И приходится жить здесь и сейчас. А здесь и сейчас есть Вильнюс. И спасибо ему за это.

DOI: 10.55167/01119abdd749

Берлин
Новые немцы

Ольга Романова

В Берлине морозно и привычно темно. Морозно — так зима, ночью уверенный минус. Новоприбывшие спрашивают: потом будет холоднее? Нет, не будет. Зима у нас всё ж мягкая. Но тёмная! Снега нет и не будет, а темно у нас здесь не потому, что Путин, а потому что искусственный свет мешает дикой природе. Птичкам там, лисичкам, зайчатам и мышатам, а мы в Берлине страшно уважаем их приватность.

Сидим в кафе, там, где была старая аптека. Владельцы всё оставили, как было, берлинцы не любят новодела. Сидим втроем: два немца и я. Мои собеседники берлинцы, но их не было здесь года четыре, они дипломаты. А я, наоборот, живу здесь пять лет. Им интересно, что увидела я за пять лет. А мне интересно, что увидели они сейчас.

Речь. Мы сразу говорим друг другу — речь. Берлин всегда говорил на всех языках одновременно, но сейчас не так.

Сейчас везде слышен русский.

Но не такой, к какому они привыкли.

— Потому что это украинский, — говорю я.

Очень многие украинцы говорят по-русски. Ну да, с украинскими особенностями, но по-русски. Особенно когда они уверены, что их не слышат русские. Когда уверены, переходят на украинский. Но это незнакомые. Знакомые остаются на русском. Больше ста тысяч украинцев осталось в Берлине, они уехали от войны. В основном все собираются вернуться. Сколько приехало русских, никто пока не знает. Здесь пока броуновское движение. Но тоже считают, что вернутся когда-нибудь. Как и я пять лет назад. Теперь-то нет.

Все ищут квартиры. Это не новость. В Берлине все всегда искали квартиры, это всегда проблема. Жилья нет. Но это его

не было год назад. Сейчас его нет совсем. Как класса. Или никакого, или это невыносимо дорого и стрёмно. Типа пересдачи арендованного с оплатой только наличными и без права прописки. В общем, жульничество и полное бесправие. Но кто-то соглашается и на такое.

Вопрос «Как ты думаешь, в каком районе надо искать квартиру?» вызывает истерический смех. Ни в каком. Беженцев давно не распределяют в Берлин, как и в другие крупные города Германии. Хорошо, если беженцам достанется переоборудованный контейнер. А если вы не беженец и зацепились в Берлине просто так — ну, надо крутиться. И постепенно привыкать к тому, сколько стоит страховка. Страховки, их много, одной медицинской не обойдешься. А потом, как привыкните, вас ждет встреча с немецкой налоговой. И первое впечатление незабываемо. Равно как и второе. И третье. Нескончаемая боль. Но потихоньку и к этому привыкаешь.

Возвращаюсь домой, открываю почтовый ящик. Он всегда полон. Во-первых, потому что немцы всегда пишут письма, по любому поводу и без повода. Во-вторых, у меня прописано семь человек. Потому что война. Потому что людям надо быть где-то прописанными, чтобы получать почту. Сейчас у многих так. У меня почтовый ящик с флажком. Сначала идут украинские фамилии — вот они с флажком. Ниже русские, они без флажка. Ибо нефиг.

Кому-то отдаю письма по дороге к себе, кому-то пишу: мол, пришли ваши счета, заберите. А вот один жилец у меня еще ни разу свои письма не забрал. И там счета от дантиста, я вижу. Значит, не оплатил. Значит, мне скоро судебное желтое письмо придёт. Пару раз рявкну на него, а потом выпишу, а что делать. Русский.

Ко мне тут недавно приходили новые соседи знакомиться, тут так принято. Немцы. С тортиком. Пожилая пара, на пенсии — она учительница, он юрист.

— Фрау Романова, вы ведь украинка?

— Нет. Я русская.

Всплеснули руками:

— Ну что вы! Не переживайте! Это ничего, что вы русская! Ничего страшного, так бывает!

Спасибо. Утешили. Я знаю.

…Мои друзья, два немца, дипломаты, спрашивают меня в кафе-аптеке:

— Ну как ты тут?

— Нормально.

— Что здесь у тебя изменилось с войной?

— То, что мы теперь новые немцы. И вы это знаете лучше других.

— Русские — новые немцы? Ты имеешь в виду..?

— Да. Мы теперь как немцы в Европе после сорок пятого года. Я не виновата, что я русская, но мне этого не изменить. Я знаю, что чувствовали немцы. Только до сорок пятого еще далеко.

Меня никто не попрекает. Меня никто не унижает. Никто не считает меня человеком второго сорта. Просто сорок пятый неизбежен, и все это как-то понимают.

Мы пьем кофе и расходимся. Я вызываю «Убер». Я всегда вызываю «Убер для Украины», здесь есть такая опция. На евро дороже, но приходит быстрее.

Сажусь в такси. Меня везёт Моххамед, или Али, а может, Хасан.

— Вы с Украины?

— Нет, я русская.

— Тогда почему..?

По кочану. Поехали, долго объяснять.

Нет. Так невежливо.

— Дорогой Моххамед, мне ехать пять минут, я не успею всё объяснить.

— Будь проклята война.

Ну что ж. Так тоже можно. Коротко и ясно.

DOI: 10.55167/3b64a1c1ca91

Москва

Елена Дорогавцева

Надо запомнить эти дни, перевести их с ощущений в слова, в историю, выводы и будущее, которое не повторится прошлым уже никогда.

Москва поредела и лишилась живого. Что сделали с моим городом? Давно не видела улыбок на лицах. Только вечерами редкие школьницы заливисто смеются в спальных районах. В центре люди ходят озираясь. В воздухе испуг, страх, ожидание неизбежного. Кругом воцарилось пренебрежение и хамство. Хамят в магазинах, на улице, в метро. В моём районе население теперь сплошь приезжие с Востока. Они ходят группами, врезаются во встречных, влезают без очереди, то есть ведут себя как новые негостеприимные хозяева. Почему в их родных краях я не видела ничего подобного? Почему на чужой земле люди становятся другими?

Чувствую себя отверженной, будто сам город выдавливает в другое измерение.

Минимум пять поколений москвичей частью генома смотрят на столицу моими глазами. Смотрят и не узнают.

Мгла, на несколько часов переходящая в сумерки- слишком буквальная метафора этой зимы. Оказалось, жизнь не ищет тонких сравнений, жизнь предпочитает буквальное. Буквальное заползает в гортань, вдыхается лёгкими и оседает внутри, как смог. Слова и мысли напитывают морозный воздух. Паузы внутри стоят восклицательными знаками — острыми и холодными. На восклицательные знаки нужно много сил. Несколько лет Москва жила вопросительным знаком: как победить этот страх? Последний год она мучилась вопросом: что можно сделать, как прекратить это ужас? Отсутствие ответов отняло последние силы. Кажется, теперь тут бродят только бессильные призраки.

Есть ли ещё такой город, где жизнь вырывалась бы наверх вопреки всему, где люди были бы таким талантливыми, многогранными, где, вырастая рядом с уникальным, побеждало простейшее?

Тут горе и мрак, но в сравнении с горем там, тут сумерки. Тут, наверное, никогда не будет зенита. Там, несмотря на весь кошмар, солнце пытается пробиться. Пока не понимаю, как выживу в этой темноте. Пока не нахожу сил выйти на свет.

Даже любой выход из дома затягивает в яму отчаяния.

Вчера отнесла очки от солнца починить после неудавшегося ремонта (зачем они теперь?). Мастер поморщился испорченной оправе и говорит: «Это вам на соседней улице все изгадили? Все ко мне потом приходят переделывать. Я тоже этих мастеров не люблю. У меня горе случилось, и я поехал в Ереван. А те „мастера“ пришли сюда и подменили мои визитки на свои. Я им потом сказал, как не стыдно…»

Оказалось, у мастера Саркиса сына забрали в Карабах служить. 18 лет — ребёнок. Ранило. Сделали 10 операций, вторая группа инвалидности. «По телевизору сказали, потеряли 300 человек в Карабахе, а сын рассказал, что из их двух тысяч осталось только 200!»

Мы тут ходим, пытаемся дышать, а кругом у людей и этой возможности нет. Стыдно быть несчастливым, стыдно быть счастливым. Стыдно жить, стыдно уйти из этой жизни. Полная невозможность всего. И никто, никто не понимает как дальше…

Завтра пойду забирать очки, натащу кучу одежды и обуви в ремонт — все, что собиралась выбросить. Саркис не принимает помощи от женщины. Саркис настоящий. Он опять посмотрит на меня огромными глазами, вмещающими безразмерное горе, и сделает все сам — с любовью.

Армянский мужчина средних лет, Саркис из Еревана. Он умеет превращать разрушенное в целое, он умеет созидать. Рядом с Саркисом не страшно.

DOI: 10.55167/f908029b0340

Вантаа
Зимний вечер в маленьком финском городе

Сергей Медведев

Зимний вечер в маленьком финском городе, за окном центральная площадь в снегу, я в кабинете у знакомого врача, и после консультации он мне рассказывает впечатления этого года, как к нему на прием приходят беженцы.

«Я 25 лет работаю врачом, но никогда не видел ничего похожего. Приходят люди с посттравматическим расстройством, полная классическая картина. Беженец из Мариуполя, 29 лет, шесть недель сидел в подвале под бомбами, с тех пор не спит, просыпается восемь раз за ночь, прислушивается. Вялый, апатичный, ничем не может заинтересоваться, и главное — утрачивает способность к рациональному мышлению, воспоминаниям. Я сам помогаю ему выстроить какие-то связи в прошлом, родных, события, он соглашается, но тут же все забывает. Я работал с финскими миротворцами после Ирака, но там не было ничего подобного».

«Еще приходит россиянин, 21 год, сисадмин из крупного медийного холдинга в Питере. Один раз ходил на митинг за Навального, попал на камеры, его вычислили, позже задержали, прислали уведомление на работу. Там сказали: переводим тебя на испытательный срок, если что не так, пойдешь служить. А тут мобилизация, и ему тут же на службе вручают повестку. А он пацифист, на сборах бросал автомат, его там били. Он, в чем был, поехал на казахскую границу, потом Узбекистан, два месяца в Стамбуле побирался, ждал визу, и теперь здесь. Но сроки оформления беженства истекают, собеседования он проваливает, документов, доказательств мало, и возможно, его скоро отправят обратно. У парня растяжки по всему телу, весил 90 кг, сейчас 68, даже без гастроскопии понятно, что у него открытая язва на фоне стресса. Я написал письмо в Красный Крест, что ему нужна помощь и у него суицидальные настроения».

«А еще лечу человека с осколочным ранением бедра, я ни в одном учебнике травматологии не видел, чтобы кости были так расколоты, уже 6 месяцев, 4 операции, и все равно ничего не заживает, из раны гной, начался остеомиелит».

За окном заснеженная площадь в праздничных гирляндах, редкие машины, уже поставили новогоднюю елку и открыли рождественский рынок с парой киосков, глинтвейн и вязаные шапки. Декабрьский вечер в уютном финском городке.

DOI: 10.55167/e1272594b364

Венеция
Неженское лицо в венецианской раме
Отрывки из будущей книги

Екатерина Марголис

«Мама, всё нормально мы наступаем, мы крошим их!» Украинская мама гордо показывает сообщения сына в телефоне: фотографии горящего русского танка («а наши, смотри — ювелиры») и изрешеченных полей («Орки палят, как попало, ракет не жалеют. Они никого не жалеют. Даже своих им не жалко»).

На фотографии горит танк.

Внутри сгорел человек/враг/орк/россиянин/раб/всё же человек/человек ли это.

Я не могу понять себя.

Но его больше нет.

Он никого больше не убьёт.

Мы наступаем.

Его больше нет.

Площадь кипит летней жизнью.

Занимается жаркий июньский день.

Дети, старушки, собаки, фланирующие парочки. Гомон, смех, лай. Шум проходящих моторок. В ближайшем кафе меня ждут Марина и ее мама. Марина — художник и кураторка. Специалист по дизайну и изготовлению масок и карнавальных костюмов. В Венеции очень надеется устроиться по специальности. В Киеве же осталась всё: своя студия, недавно отремонтированная, дом, жизнь.

«С нами в том поезде в Польшу, на который мы успели сесть, парень ехал, грузин. У него дутик был, ну куртка „Tom Hilfiger“ — модный парень, а куртка порезана насквозь, набивка выпадает. Рассказал — мы прям не поверили сначала. Тогда ещё ж ни Бучи, ничего мы не знали. Это бурят его полоснул, когда он мёртвым притворился, — хотел проверить. „Чудом не задел. Въехал пря-

мо на БТР в мою гостиную, — говорит. Пьяный в дупель. Я уже бежать готов был, а тут сразу — мертвым. Он вылез, полоснул, обратно полез, тут его через окно наши из ЗСУ пристрелили. Я лежу не двигаюсь. Тут мёртвый бурят и БТР. И всё это у меня в доме. Мне всё казалось, что сон это. Я этот дом сам строил. Уже второй строю и бросаю. Первый в Осетии, пришлось в 2008-м бросить и бежать. Второй вот в Украине. Тоже сам отстроил. И опять русские с войной. Я, наверное, невезучий“. А мы ему: „Не, парень, ты просто супервезучий! От смерти ушел! В рубашке родился. В куртке «хильфигер»“. Он смеётся. А порез через всю куртку. В чем был, убегал. Мы тоже. Мама вот в дырявом кожаном пальто из подвала. И в тапочках. Я с котом за пазухой. Переноску в дороге выкинули — очень тяжело тащить. А мы бежали. Как мосты стали закрывать, нам с левого берега нужно ж на правый. Там ещё четыре дня в другом подвале. Ну и потом на вокзал между обстрелами…»

Мама — изящная, тихая, с лучистыми глазами, лет 75 — слушает, кивает. Чуть не плачет. Но слёзы уже кончились. Помню огромную разницу между волной беженцев в самые первые дни войны, которые застали подвалы, но еще самого страшного не хлебнули — они плакали, рассказывали, делились. А потом была следующая — прибывающие на рассвете эвакуационные автобусы, и там были остекленевшие глаза совершенно неживых людей, которых мы встречали, и они только задавали бытовые практические вопросы: куда идти, где взять, какую бумажку заполнить и пр. И уже ничего не рассказывали и не плакали. На чувства и горе сил не было. Силы нужны были, чтобы выбраться и выжить.

«Мы там всё оставили. Я так этот дом обустраивала, вы б видели. И кот наш ничего в жизни, кроме подушек да ласки, не знал… он от стресса два дня не писал. Я думала, всё. А теперь прям альфа-самец. Выходит на лужайку. Котов других гоняет. Военный кот стал».

И передумав плакать, мама широко улыбается.

А Марина снова перехватывает инициативу:

«Я вот три месяца тут живу, тут наши из Киева на Биеннале приезжали, захватили мне мои маски, инструменты. Я раз-

ложила, гляжу на них и думаю: это ж дети мои. Прям по щекам себя бью: „Ау, Марина, где ты три месяца была? Проснись уже. Это твоя жизнь теперь. Или пока? Мы тогда в Польше, как с поезда сошли, так нас волонтеры сразу за руки/под руки, вещи взяли, бутерброд в рот, чай горячий, одеялом накрыли, ведут, один анкету заполняет, другой маршрут объясняет, как беженцам документы оформлять. И я хочу сказать: стойте, это ошибка, это не мы, мы ж нормальные люди с работой, квартирой, зарплатой, мы не беженцы…. А потом вдруг смотрю вокруг… я такого никогда не видела: всюду люди, сколько глаза не хватает. И тут понимаю: беженцы — это ж мы теперь…»

II

Паром из Греции в Венецию. 36 часов на борту.

Артемиде 6 лет, Палладе 2 года.

Детские игровые комнаты на огромном пароходе все закрыты — не сезон. Из попутчиков в основном дяди-дальнобойщики да пара случайных туристов. Детей нет.

Девочкам скучно: они потрошат содержимое своих рюкзачков и прыгают по маме, пытающейся подремать Спать в кресле на 9-м месяце беременности очень неудобно — живот давит, болит спина, дышать тяжело. Будет третья девочка.

Девочка, которая могла быть москвичкой, потом должна была стать киевлянкой, уже почти собиралась быть гречанкой, но сейчас старается успеть стать берлинкой.

Девочка-бусинка в мамином животе, которая еще не родившись, уже нанизана на нить войны и скитаний.

«Мы девочек назвали греческими именами — как богинь. Мне всегда мифы нравились. С Димой тоже на ролевых играх познакомились. Он меня моложе на 6 лет, но такой уже взрослый. Сам себя с 14 лет обеспечивал, родители его бросили, дед с бабкой растили. Мужчина, настоящий, отслужил уже. — У Ирины синие глаза и темные волосы, забранные в пучок, нежный овал лица — что-то из французских портретов классицизма. — Хотели уже давно уехать. Не могли смотреть на эти коляски с „на Берлин“, на деток в военной форме. И муж говорит: они из де-

тей фарш сделают. Я сама из Винницы, у нас Чернобыль был, когда я в школу пошла. Я про атомную войну с детства думала. На экологию пошла учиться поэтому».

За иллюминатором море и море. Серое, бесприютное. Горизонта не видно.

Паром прибывает в Венецию в 7 утра. Но за время ковида порт перенесли в промзону за Маргеру на материк. Пейзаж после битвы.

«Дойти от причала до автобуса с детьми и таким количеством вещей, баулов, чемоданов нереально. Случайно попутка остановилась. Подвез до остановки, пожелал победы. Вам позвонил. А в Патрасе водитель автобуса не пустил на борт с тележкой велоприцепом. Сказал, не положено. Сколько ни уговаривали, не удалось. Пришлось тележку бросить, а папе за раз весь скарб не поднять. Мы же приданое маленькой везем, не знаем, что там нас ждет, вот складную кроватку тащим, одеяльца на всех.

«Книжек у нас много-много дома с картинками, а у вас? А ваши девочки любят сказки? Я вам сейчас расскажу свою любимую», — маленькая Артемида не замолкает ни на секунду. Изможденные родители реагируют на автомате: да, Артюша, конечно Артюша, не приставай к тёте, Артюша.

Им повезло. Папа с ними. Он россиянин, поэтому теперь в Киеве его никто не ждет. Но и не держит. Она киевлянка, пыталась прижиться в Москве, инженер-эколог, но на работу не брали, вернулись уже с мужем в Киев, но и киевские подруги отвернулись — вышла замуж за москаля. Мы, как назло, в январе 2014-го поженились, а тут все и началось. От него товарищи по армии тоже такого не ожидали: повязать свою жизнь с укрофашисткой? Своих русских девчонок, что ли, мало?

Дима поначалу насторожен и неразговорчив. Огромный, под два метра, широкоплечий с детским лицом. «Давай, подержу. Только в левую». Через правую огромную ручищу у Димы идет

шов. Прямо из кожи торчат свежие голубые хирургические нитки, связанные узелками.

Март выдался очень холодным. Выпал снег. В Афинах, в Тбилиси, в Ереване, в Стамбуле. Там на балконе стекло треснуло. Старые рамы. Кусок стекла на него выпал.

«Вы громче говорите. Я просто не очень хорошо слышу. Еще со времен Чернобыля, с двух лет. Глухота 2-й степени. Но инвалидность не оформлялась. Родители говорили, что это стыдно, и не возьмут в университет и на работу…

Как в Греции оказались? Муж поступил учиться на пищевого химика, хотел уехать и семью вытащить».

«У меня много профессий. Люблю учиться». — Что-то вроде улыбки чуть брезжит на горизонте его лица. От него нестерпимо пахнет потом.

Тащим вещи через 104 ступеньки моста Академия.

Жена снова перехватывает нить разговора: «Дима на винзавод устроился работать. Потом ковид — полтора года в разлуке. Вот встретились наконец». — Ирина останавливается на мосту, счастливо улыбается и обнимает свой живот.

Паллада рыдает — папа взял на руки, а она хотела сама перейти через мост Академия. Сама! Сама!

«А зачем перила? Это для людей, чтоб держались? Ой, собака! А почему у нее такая грустная мордочка? — Артемида живет в своей ноосфере. Говорит по-взрослому. Ее интересует примерно всё и желательно одновременно. — А тут у вас вокзал? А поезда тоже водяные? Мы на водяном поезде в Берлин поедем?

А что мы сейчас делать будем? А у твоей дочки красивые игрушки?

А у меня тоже много игрушек дома. Я не знаю, сколько у меня игрушек. Я их считать не люблю, я играть в них люблю.

А почему тут в витрине сердечко синее и желтое?

А-а, это как Украина? Наверное, раз сердце — это не война, а любовь? Я так сразу подумала. У вас тут всюду сердечки.

А когда у вас будет прием пищи?

А то у меня вся спина и животик проголодались.

А почему на стенах пишут и рисуют?

Они что, хотят в школу искусств, а их не берут, вот они на стенках калякают?

А я тоже люблю рисовать животных. Но в альбоме. Улитку такую огромную. Мама сказала, что отдаст меня в школу искусств, когда я подрасту.

Ой, опять мост! Сколько ступенек…

Я считать пока не умею. Смотри, волны расходятся за кораблем. А почему он ветра попутного не дожидается?»

Ну, знаешь, иногда ждать попутного ветра невозможно, нужно плыть и против волн.

Мы наконец преодолели мост и пытаемся отдышаться.

«В Киеве сестра. Должна была ко мне на роды приехать. Теперь не хочет слышать, чтоб уезжать.

Да и невозможно — там все мосты поломаны, взорваны, не знаю, как люди выбираются.

Многие подруги так с детьми в подвалах и сидят. Говорят, ехать опаснее, они все эти машины обстреливают. С детьми, без детей, им пофиг.

Хорошо, мама не видит. Умерла этой осенью. Сразу четвертая стадия рака, в два месяца сгорела. Третью внучку не увидит. 65 лет всего».

Артемида вмешивается в разговор: «Я без бабушки скучаю, а дедушку не люблю, он злой. Он на маму кричит: Путин: Путин!»

«Этой мой папа, — вмешивается Людмила. — Он ничего не хочет слышать даже сейчас.

Он загипнотизирован. Сидит в Киеве на 16-м этаже под бомбами русскими и ждет, что Путин его спасет. Это бесполезно. И дедушка с ним, 96 лет, ему трудно спускаться в укрытие. И сестра, получается, у них, как заложник…

Я только недавно узнала, что наполовину еврейка. Мама скрывала, думала проблемы в школе будут.

А я теперь поняла, почему схватила детей и бегу. И верю, когда обещают худшее, Это у меня, наверное, генетическая память. Не понимаю, как можно сидеть и ждать. Я теперь много книжек прочла про этот Холокост. Всё, как у нас теперь.

Я мужу еще в январе сказала: раз британская разведка говорит, что Путин готовит войну, значит, так и есть. Надо мной

все смеялись. Ну и пусть смеются. Мы в Грецию приехали, думали уже остаться насовсем, документы ждали.

А мужу теперь счет заблокировали и карточку — как всем россиянам.

И начальник его во всем украинцев винит — мол, из-за них русские богатые теперь не приезжают, у нас доход и так после ковида упал.

В Греции там самый дешевый вид на жительство в ЕС был. 250.000, приезжали богатые, сорили деньгами, а теперь всё закончилось. Вот они про американцев, про НАТО твердят, у мужа начальник — грек-путинист, не за этим мы хотели уехать, хотя теперь вот на Мариуполе некоторых пробило — там же греки. Как это вообще в 21-м веке детей бомбить? Из батареи в подвале воду пить.

А мои сидят. Ждут, когда Киев в кольцо возьмут и то же начнется?

Мне рожать, кесарево делать, у меня —7 по зрению. А у нас никаких документов. И денег теперь нет. Счет-то заблокирован. Вот и получилось: я украинка, муж россиянин, и все против. А детей как растить? Решили в Германию — там нормально к украинцам, говорят, относятся. Списалась со своей душой, она волонтеров нашла. Приютят на первое время. Я ж не так планировала. Я за естественные роды вообще, слингоношением занималась, книги детские собирала. Вот привезла вам одну в благодарность — моя любимая художница. Ничего, что по-украински? Вы нам поможете на вокзал сходить до Берлина билеты взять? По украинским паспортам бесплатно. А мужу придется за деньги с российским паспортом. Он успел снять немного до того, как карточка перестала работать. А много у нас и не было».

Из детской раздается вопль.

«Паллада укусила Аришу, но я её заранее предупредила, что такое может случиться», — педантично докладывает Артемида.

Моя 11-летняя дочь, привыкшая к роли младшей, в полной растерянности и ужасе.

«Мам, а они у нас долго будут гостить? Пока война не кончится?» — спрашивает она, деликатно отведя меня в отдельную комнату.

«Нет, если не родят тут, то завтра уже в Берлин хотят».

Тем временем Дима, полежав на полу («позвоночник уже на пределе») и съев огромную тарелку спагетти («Карбонара? Класс! Я же повар!») понемногу оттаивает:

«Я ж сам в армию мечтал пойти. Тренировался, готовился. Думал, буду защищать. Меня в детстве мамка с папкой бросили, не защитили. Я у деда вырос. Он мне про войну рассказывал. Потом отслужил, выучился на повара, а потом и в университете отучился. Сам себя всегда обеспечивал. Тогда легкие деньги в Москве были в середине 2000-х. Я 1000 долларов зарабатывал просто подработками. Но мне денег мало, я ж на книгах вырос, фильмах, сам думал, чем могу быть полезен стране. И решил в спецназ. Мои товарищи больше со мной не общаются. Последний сейчас отвалился, на смс не ответил. Спрашиваю, где ты. Он снайпером был. Молчит. Всё ясно. В гробу привезут. Афган шуткой покажется. Этот же не перед чем не остановится уже. Он военного положения боится. Тогда с ним самим военные цацкаться не будут. Я постепенно понимал. Сначала верил. Там же оклад мизерный, только надбавки за опасность и пр. Там не за деньги — за идею. Вот в 2014-м все премии и надбавки в Крым пошли, ребята говорили. Но я уже после Болотного дела уволился, Тогда задумался. В 2012-м нас Новый года на Тверской отправили разгонять. Я думаю: чо такое, люди Новый год встречают, а мы их дубинками? Потом уже в суд перешел охраной. И там наслушался. Адвокат говорит: Ваша честь, так-то и так-то, камень не мог по такой траектории лететь, не мог задеть омоновца, вот вам схема, а судья его не слушает — по бумажке читает. Приговор заранее отпечатан. Что это за суд? Понял для себя: главный закон Мерфи — если что-то может пойти не так, оно так и будет. Очень помогает».

Мы идем на вокзал за билетами. Поезда переполнены, бесплатные билеты украинцам нужно бронировать заранее. У папы российский паспорт. Ему бесплатный проезд не положен. Денег

у них нет. На билет ему приходится скидываться, но он даже не может поблагодарить — что-то бормочет и отходит к окну.

Плещут каналы. Сияет холодное мартовское солнце.

На Берлин. Можем повторить.

«А знаешь, мне очень понравился ваш плавучий город. Мы к вам еще приедем. Когда война кончится».

III

С утра смс от Наташи. «Опять плачу. Если эти сволочи думают нас запугать, не получится. Злость такая, что каждый до конца своих дней будет бороться».

Наташа — гид. Знаток венецианской истории. Работает по-английски и по-русски.

Теперь перед началом каждой русскоязычной экскурсии Наташа спрашивает своих туристов о войне и отказывается от работы, если «всё сложно» или «а мы тут при чем?». С Наташей мы подружились недавно, но крепко. Выходила вместе с нами 24 февраля на Сан Марко с протестом. Увидела и присоединилась. Живет тут давно, замужем за венецианцем, сама из Украины, училась в Херсоне. Наташа — сгусток энергии и деятельного участия. Она фактически одна организовала всю систему помощи беженцам в Венеции на первом этапе, пока просыпались и пытались что-то наладить итальянские власти, Caritas и Красный Крест.

Сейчас в разгаре летний туристический сезон. У Наташи сейчас много работы по специальности: на вторник подряд две большие экскурсии по Дворцу Дожей. Семейные. Обычно такие заказывают обеспеченные семьи, которые серьезно относятся к образованию своих детей.

Две семьи. Первая из Киева.

Мама, папа (сопровождает эвакуацию инвалидов из Украины, ездит туда-сюда с разрешения ЗСУ), две девочки: 6 и 8 лет. Дети умные, пытливые, образованные, понимают немножко по-английски, между собой говорят по-украински, ро-

дители тоже стараются, хотя мама русскоязычная и в прошлые приезды говорила по-русски, но сейчас, пусть с ошибками, но только на мове. Они не первый раз, но на этот раз заказывают украинскую экскурсию.

Папа шепотом предупреждает гида Наташу: только аккуратнее на темы войны. Девочки просидела месяц в подвале. Младшая очень травмирована. Старшая получше, она охраняла и успокаивала младшую и тем самым нашла себе психологическую нишу и защиту в заботе о более слабом. Наташа понимающе кивает.

Осадные картины — мимо. Оружие мимо. Детективный рассказ о предательстве дожа и отрубленной голове, обычно имеющий у детей бурный успех, вызывает слезы и жуткий испуг. Рассказ спешно прерывается, Наташа скорее ведет всех по золоченым коридорам, показывает расписанные Веронезе потолки с символами добродетелей и паутинкой, где дети, оказывается, знают, что такое аллегории и рассказывают об этом Наташе, потом огромный Зал Большого Совета с золотом Тинторетто — тут младшая тоже демонстрирует незаурядное знание библейских сюжетов, а до этого античной мифологии. Наконец заключительная часть — переход в таинственные коридоры тюрьмы Пьомби. И тут у младшей начинается истерика: это тот самый страшный сырой подвал без света, пойдем отсюда, сейчас будут стрелять. Папа хватает ее на руки, и они буквально бегут обратно. Старшая на ходу пытается заговорить зубы младшей рассказом о гондолах: «Посмотри в окошко, видишь там такие лодки, ими управляют одним веслом…»

По дороге на выход они пробегают огромный зал, где сейчас выставлена инсталляция с семиметровыми полотнами Ансельма Кифера.

Семь огромных во всю стену полотен превратили зал в пейзаж после битвы.

Я наконец увидела что-то хоть как-то соразмерное нынешней катастрофе по масштабу выжженности.

Это было не про Венецию и не про пожар. Точнее и про это, но куда больше.

Site-specific обернулся time-specific. Это делалось до войны, до Харькова, Волновахи, до Мариуполя. Но оказалось всем сразу.

Километры спекшейся краски, перемешанной с землей, уголь, боль, пришкваренная одежда, раскрытый гроб евангелиста Марка, но его там нет.

Лестница в небо через обгорелую черноту и всполохи. Продуктовые тележки, наполненные чем попало, катящиеся под самым потолком. Застывшее пепелище.

Большой художник не говорит от себя.

И даже список материалов звучит как поминальная молитва по цивилизации:

Холст, эмульсия, акрил, масло, шеллак, смола, гуммиарабик, обожженное дерево, цинк, сталь, свинец, листовое золото, сожженные книги, металлическая проволока, ткань, солома, веревки, бумага, вощеная бумага, ботинки, уголь.

По замыслу после окончания выставки художник собирается сжечь все работы.

Эпиграфом к выставке Кифер поставил слова венетского философа Андреа Эмо:

«Questi scritti, quando verranno bruciati, daranno finalmente un po' di luce» — «Эти записи, когда их сожгут, наконец дадут немного света».

Семья останавливается. Они ходят от полотна к полотну. Дети и взрослые. Они внимательно вглядываются и вслушиваются. Они узнают себя в огромном полотне истории. И почему-то больше не боятся. Они благодарят Наташу за экскурсию. Дети тоже.

И желают друг другу перемоги.

Через два часа следующая экскурсия.

Семья номер два. Россияне. Очень милые, интеллигентные, мама, папа мальчик и девочка: 7 и 9 лет.

Дети умные, пытливые, образованные, понимают немножко по-английски. Экскурсию заказали русскоязычную. Наташа сразу предупреждает еще в переписке, что она из Украины и всех Z сразу просит не обращаться.

Семья, разумеется, не Z. Они просто приехали показать детям Венецию. «Мы хотим воспитывать их на позитиве и дать хорошее образование и старт в будущее».

Снова тот же маршрут. Батальные полотна на ура. Мощь Венецианской республики — восторг. Совет Десяти и тайная дверка в комнату, откуда уводят осужденных, — вау. Дож без головы — суперстрашилка. Дети знают историю, перебивают друг друга, добавляют подробности мифов и библейских сюжетов. Даже про Мост Вздохов слышали. А мы по нему пройдем? Что, прямо в тюрьму, в настоящую? Круто…

На обратном пути тот же зал с Кифером.

Наташа начинает рассказывать биографию художника, родившегося под последними бомбежками Второй мировой. Его антивоенный пафос. Война, Катастрофа (Холокост), нацизм и его живучесть в Германии — главные болевые оси творчества.

Ровно через полторы минуты папа прерывает Наташин рассказ и громко объявляет детям, что им пора за мороженым. На выходе горячим шепотом объясняет Наташе: «Мы воспитываем их на позитиве. Нашим детям не повезло родиться и расти в такое время. Мы без политики».

Они прощаются, вежливо благодарят за прекрасную экскурсию. Дети со смехом бегут вниз по лестнице Porta della Carta: их ждет мороженое.

«И тут меня накрыло», — говорит мне обычно такая стойкая и сдержанная Наташа.

Она садится на мраморные ступеньки и начинает безудержно рыдать.

Она плачет по всем тем детям и родителям, которые не выбирали, которых лишили выбора, которых не спросили и исковеркали им навсегда жизнь или лишили ее вовсе.

Они тоже хотели беречь своих детей от зла, растить в тепле, приобщать к культуре. Они мужественно делают это и сейчас. Вопреки всему.

Но им не оставили выбора.

Их девочки навсегда запомнят эти подвалы и будут шарахаться от резкого хлопанья двери. Или бросаться на пол при звуке вертолета над Сан Марко.

Притча 2022. Венеция. Дворец Дожей. Две совершенно одинаковые семьи, воспитывающие своих детей по обе стороны войны.

Не бойтесь. Морали не будет.

Будут только перепуганные насмерть стойкие дети и другие точно такие же дети, беззаботно смешавшиеся с веселой летней толпой на Сан Марко в ожидании мороженого.

Да Наташины бессильные слезы на мраморных ступеньках Дворца Дожей.

IV

Как ты смеешь писать такое из солнечной Венеции?! Такой упрек слышу ежедневно. Такое — самое разное. Каждый день каждый дом каждый мост— это мысли, цитаты, картинки, тексты— по сути, открытый дневник. Дневник военного времени, даже если мы за тысячи километров. Войну не отменишь. Двойная оптика теперь с нами надолго.

«Отдыхайте себе в Венеции», «кофейку попейте», «как там погода?» — приносит утренний русскоязычный фейсбук.

В Венеции не может быть горя, войны, предательства. В Венеции только погода и отдых. Гондолы, просекко да соле мио с макаронами.

Только почему-то у Насти в соседнем баре заплаканные глаза. Настя — модница, красавица, хохотушка. Выглядит всегда, как на подиуме. За словом в карман не лезет.

«Насть, что-то случилось?»

«Сын, ну Генка мой, 23 года, месяц мне голову морочил, что, мол, в терроборону не взяли, а сам на учениях и теперь в разведотряде… на передовой под Изюмом. А он хоть спортсмен, но он такой у меня домашний, учиться любит, крови боится. Я спрашиваю: а как тебя взяли, ты ж от анализа в обморок падаешь? А он: из уха брали, на группу. Там их рашисты вчера обстреляли. Машину пришлось бросить. Еле выбрались…» — Она спохватывается уже на слове «рашисты» и замолкает. Смотрит на меня вопросительно

«Рашисты и есть. Что тут стесняться теперь слов, что ли?»

Ободренная моей лингвистической толерантностью Настя продолжает с удвоенной экспрессией: «Очки потерял. И дрон поломался. Вот бегала в Вестерн Юнион — перевела всю зарплату, и сестра добавила, она тут сиделкой. Ну на этот дрон или там деталь какая-то — не поняла толком, связь прерывалась. Короче, 1200 евро. Он без него ж не видит ничего, кто там в засаде, и убить его могут. А оборудование новое долго идет. Кому на бронежилет собирают, кому на каску. Нам они живые нужны. Вот тут в газетах всё обсуждают, что Италия продолжила поставки. Это хорошо. Так, представляешь, есть такие, что против. Это они так „за мир". Пришли б к ним домой, поубивали б родных, разгромили б хату, я б на них посмотрела. Пацифисты… Ну ничего, мы наступаем. Мы крошим их. — И Настя добавляет крепкий эпитет. — Тебе кофе?»

За моей спиной из чьего-то окна полощется украинский флаг.

Солнце отражается в кофейной чашке. Чашка стоит на блюдце. Блюдце на столе. Столик на венецианской площади. Площадь в городе. Город в мире.

Мирный город, в котором на каждом шагу — война.

DOI: 10.55167/f1b9da356857

Это мы, беженцы

Мирные жители российско-украинской войны

Валерий Панюшкин

Моему другу Мустафе Найему, который посоветовал мне написать эту книгу. Моей жене Ольге Павловой, которая собрала для этой книги персонажей. Моему отцу Валерию Панюшкину, который вряд ли эту книгу прочтет.

Мой отец — за войну. Среди моря общественных бед, которые моя страна обрушила на Украину и весь мир, включая собственное население, есть и моя личная беда. Мой папа, старик восьмидесяти двух лет, — за войну.

Он хороший человек, я люблю его. Он учил меня кататься на велосипеде, управлять байдаркой, работать пилой, стамеской и рубанком. Он чудесный мастер, всю жизнь делавший макеты для театров и выставочных залов. Он любим моими детьми, играет с ними и ремонтирует им поломанные игрушки. Он всю жизнь нежно любил мою мать и трогательно ухаживал за ней два года, пока мама умирала от рака мозга.

А теперь он поддерживает войну, и мы почти не разговариваем. Я только спрашиваю, вовремя ли он принял лекарства.

Когда мама умерла десять лет назад, отец так горевал, что заперся в своей комнате и выходил только, чтобы поесть и справить нужду. Он выходил редко, не чаще двух раз в день. А там в комнате он проводил время наедине с телевизором.

Я работал журналистом на телеканале «Дождь», который теперь в России закрыт, выступал на радио «Эхо Москвы», которое теперь тоже закрыто, писал для «Новой газеты», которая теперь перестала выходить. Я говорил отцу, что не стоит забивать себе мозг той злобной белибердой, которую несут официальные телевизионные каналы. Но он отвечал, что практически не смотрит по телевизору новостей и политических ток-шоу, а смотрит в основном футбол или программы о животных.

Думаю, это была неправда. Папа плохо спал, телевизор в его комнате почти не выключался. Полагаю, что кроме результатов футбольных матчей и подробностей из жизни китов

С разрешения автора «Palladium» публикует первые четыре главы новой книги Валерия Панюшкина «Это мы, беженцы», которая выходит в свет в издательстве «Свободного университета».

и пингвинов телевизор еще день и ночь твердил моему папе про злобных нацистов, которые пришли к власти в Украине, про ненасытное НАТО, которое все туже окружает Россию своими военными базами, про транснациональные компании, которые скупили всю российскую нефть, про доллар, который не дает рублю стать мировой валютой, про журналистов-предателей (я был одним из них), которые клевещут на президента Путина и его политику по возвращению России в статус великой державы, — вот про все это.

Несколько месяцев спустя после маминой смерти, когда боль утраты притупилась, отец стал выходить из комнаты, приезжать к нам в гости, принимать нас у себя, играть с внуками и разговаривать со мной. В основном мы беседовали о бытовых мелочах, но то и дело в папиной речи проскальзывали пропагандистские штампы: «давление Запада», «агрессивное НАТО», «чуждые русским ценности», «пятая колонна»...

— Папа, это я пятая колонна!

— Да какая ты пятая колонна, ты просто дурачок, — парировал отец, пренебрегая тем фактом, что сын — известный журналист и писатель, предмет отцовской гордости. Смеялся, как будто переводя назревавшую ссору в шутку.

Мне казалось, что, произнося эти пропагандистские штампы, отец как будто испытывал меня: не соглашусь ли я разбавить свои оппозиционные взгляды разумным конформизмом. Я не соглашался, и отец отступал на заранее подготовленные позиции добряка-дедушки, которому ни до каких политических взглядов нет дела, а занят он исключительно починкой сломанного автомобильчика для младшего внука.

Так мы и жили до 24 февраля 2022 года, когда началась война.

Первую неделю мы вообще о войне не разговаривали, будто надеясь, что она просто прекратится, как дурной сон. Потом я принялся писать эту книгу о беженцах и, возвращаясь из своих поездок, приходил к отцу и рассказывал. Очень осторожно, только человеческие истории, никаких политических выводов. Про людей, которые потеряли дом, про старушку, которая бежала из Мариуполя в кузове рефрижератора, про мальчика, у которого на войне погиб брат. Отец слушал, сочув-

ствовал моим героям, но настойчиво приводил в ответ пропагандистские аргументы: «Да, но разве не вели украинцы войну на Донбассе восемь лет?», «Да, но разве НАТО не окружало Россию военными базами?», «Да, но разве Запад не навязывал чуждые русским ценности?» Так он говорил, а я продолжал рассказывать. Я надеялся тронуть его человеческими историями несчастий, рассеять постепенно морок пропаганды, в котором он живет.

Потом случилась Буча. Я встретился с беженкой из этого городка, где за время российской оккупации погибло более четырехсот мирных жителей, и записал ее рассказ. Но стоило только мне начать пересказывать отцу слова этой женщины, как он вскочил и сорвался на крик. Он не кричал на меня так никогда в жизни, ни разу за мои пятьдесят два года:

— Как ты смеешь! Как у тебя хватает совести говорить такое! Как ты мог хотя бы подумать, что русский солдат способен убивать детей и женщин!

Он кричал, и я боялся, что вот прямо сейчас он упадет и умрет от разрыва сердца. И тут я догадался — он все понимает. Человек, который не понимает или заморочен ложью, склонен все-таки, особенно в разговорах с близкими, задавать вопросы, интересоваться, сомневаться. А мой отец кричал на последнем пределе отчаяния. Так поступают люди, которые понимают ужасную реальность, но не могут принять ее, потому что принятие страшнее смерти.

Мы — агрессоры, это реальность. Но если мы агрессоры, то что делать восьмидесятидвухлетнему старику, которого воспитывали и который сам воспитывал своих детей на подвигах героев Второй мировой войны, людей, шедших на смерть, чтобы остановить агрессора? Что значит пойти на смерть, чтобы остановить агрессора, если агрессоры — это мы? Это значит — совершить самоубийство.

Мой отец кричал, трясся и ронял вокруг себя предметы, потому что все понимал, но не мог принять реальность, ибо принятие реальности означало бы либо немедленную его смерть, либо тотальное разрушение его личности, всех его ценностей, всех его нравственных установок.

Я сидел и молчал. И думал: «Господи, он все понимает, Господи». Потом я встал, оделся и ушел, оставив старика в одиночестве. С тех пор мы только перезваниваемся и разговариваем исключительно о том, вовремя ли он принял лекарства.

Но я больше не думаю, что отец не понимает происходящих событий. Я вообще перестал думать, будто россияне, поддерживающие войну, одурманены пропагандой. Одурманены, конечно, но дело не в этом. В большинстве своем они все понимают. Дело только в том, что до сих пор никто в России не изобрел ни одного разумного действия, которое можно предпринять вслед за осознанием той реальности, что мы агрессоры. Уличные протесты — не предлагать. В тоталитарной стране выходить на митинг протеста — это все равно что биться лбом о каменную стену, мы пробовали.

А принять ту реальность, что мы агрессоры — невероятно тяжело. За этим принятием не следует ни одного разумного действия, кроме самоубийства. Меня от самоубийства в первые месяцы войны удерживало только дело, которое я сам себе в отчаянии назначил, — написать эту книгу о беженцах.

ГЛАВА 1
ЧАС ВОЛКА

> *«В результате ударов российских Вооруженных Сил выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. С начала проведения специальной военной операции сбиты два Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата „Байрактар ТБ-2“ Вооруженных Сил Украины. Все поставленные перед группировками войск Вооруженных Сил на день задачи выполнены успешно, в частности обеспечен выход российских войск к городу Херсону».*
> *Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, 24.02.2022*

Войны начинаются перед рассветом. В любом военном училище курсантам рассказывают, что самый конец ночи, «волчий час» — лучшее время, чтобы нападать, снимать часовых, переходить границу, бомбить военные объекты. Биологически люди так устроены, что именно перед рассветом крепче всего

спят, и даже те, кто спать не должен, — дежурные, стражники, пограничники — наименее способны концентрироваться. Этому учат курсантов, и когда курсанты становятся генералами, они раз за разом начинают войны перед рассветом.

Военные не очень чувствительные люди, их не беспокоят исторические совпадения и поэтические рифмы. Они, наверное, слышали в исполнении Марка Бернеса или Гарика Сукачева: «...ровно в четыре часа Киев бомбили, нам объявили, что началася война». Слышали, но не чувствуют, что теперь эта знаменитая песня — не про Германию, которая напала на Советский Союз в пятом часу утра 22 июня 1941 года, а про Россию, которая напала на Украину в пятом часу утра 24 февраля 2022-го. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич так и напишет в своем твиттере: «Россияне, это теперь про вас».

Время перед рассветом. Час волка. Украина спит. Взрыв!

Виктория Светлич, менеджер компании Nokia, просыпается от взрыва в Киеве, в больнице. Она там с дочкой, дочке пятнадцать лет, ей только что сделали операцию, вставили в ногу титановую конструкцию, девочка ходит на костылях. Дверь в палату открывается, на пороге врач. Он говорит: «Война. Мы переводим всех тяжелых больных в подвал, а всех выздоравливающих выписываем. Идите домой». Как идти домой на костылях по городу, на который падают бомбы?

Юлия Лейтес тоже просыпается в Киеве, но в прекрасной квартире возле оперного театра. Юлия психолог и феминистка. Долго работала в Москве, замужем за гражданином России. Недавно вернулась в родной Киев, не в силах терпеть «смутно определяемое, но разлитое в московском воздухе чувство несвободы», — так она говорит. На десять утра у Юлии назначена фотосессия для проекта о механизмах насилия. Должны снимать сломанные цветы, отходы цветочных магазинов, кое-как склеенные скотчем в подобие живых цветов и символизирующие женщин, перенесших насилие. И вот оно насилие, за окном.

Елена Чепурная, медсестра, просыпается от взрывов и воя сирен противовоздушной обороны в Чернигове. Подходит к окну и видит, как соседи без разбора, не пакуя в сумки и чемоданы, бросают вещи в багажники машин.

Владимир Павленко, торговец жалюзи и шторами, просыпается от взрывов в Одессе. В спальню входит семилетняя дочь Владимира: «Папа, мне страшно». Что можно сделать? Обнять, взять на руки. Что еще можно сделать?

Виктор Н., кинопродюсер, просыпается от взрывов на окраине Киева, открывает Фейсбук, а там вся лента забита словами «война», «ракеты», «обстрелы». Сам Виктор обстрелов не видит, только слышит грохот в отдалении.

Алена Ключка, работница администрации поселка Циркуны под Харьковом, просыпается от взрывов и говорит мужу:

— Андрей, война!

— Не может быть, спи, — отвечает муж, поворачивается на другой бок и засыпает.

Оксана К., домохозяйка в тех же Циркунах, просыпается от взрывов, думает, что кто-то пускает на улице невиданные фейерверки, и одевается, чтобы пойти смотреть.

— Куда ты? — останавливает Оксану муж, владелец маленькой мастерской, где делают массажные столы. — Стой! Война началась! Собирай детей.

Оксана мечется по дому, собирает вещи, поднимает заспанных детей, мальчиков трех и пяти лет, кормит наскоро, одевает их, одевается сама. И вот они стоят с детьми на руках и с чемоданами, но не знают, куда идти. У них есть машина, но бензина километров на сто и неизвестно, куда ехать. Можно ли ехать на запад? Не попадешь ли в самую мясорубку боя за харьковскую окружную дорогу, который в поселке Циркуны слышно — Харьков всего в паре километров? Оксана выглядывает на улицу, а там — русские танки. Остается вернуться в дом, раздеть детей и ждать непонятно чего.

Там же в Циркунах Любовь Александровна и Николай Петрович, старики, пенсионеры, просыпаются от грохота и звона. Накануне к ним приехал внук с женой и правнучкой четырнадцати лет. Сегодня у правнучки день рождения, его-то и собирались праздновать с прабабушкой и прадедушкой. А грохот и звон — от того, что снаряд упал прямо в огород и разлетелись в мелкие осколки две большие стеклянные теплицы. Весь двор завален теперь битым стеклом, и, когда взойдет солнце, земля будет сверкать, как реклама Swarovski.

Только Алла Ачасова спит. Харьковчанка, ученый-почвовед. Несмотря на грохот разрывов за окном, она спит, и снится ей сон. Рассказывая мне его, Алла смущается — несерьезно както, но беженцы почему-то любят рассказывать свои сны военного времени и многие верят, что сны их были вещие.

Во сне Алла плывет по мрачному и холодному морю на маленькой льдине, льдина вот-вот растает и расколется, и тогда — смерть. Управлять льдиной Алла никак не может, но течение и ветер гонят льдину к острову, обрывающемуся в море отвесными скалами. Вылезти на скалы Алла не может. Льдина плывет вдоль скал, скалы неприступны, и нет никакой надежды. Тревожный, мучительный сон, но вдруг Алла видит вмурованный прямо в скалы замок или костел, или как это правильно назвать? Изжелта-черная стена, башня, широкие ворота, обрамленные тяжелыми колоннами. В своем сне Алла шагает со льдины в ворота и идет по дороге, мощенной светлым камнем, а внутри — сад, накрытые столы, приветливые люди… одним словом, спасение. На этом Алла просыпается, и явь оказывается кошмарнее сна.

Заявление на отпуск

Что делают люди, проснувшись утром под обстрелом? Трудно поверить, но они идут на работу. Многие производства так устроены, что их невозможно остановить. Нельзя остановить доменную печь, например. Авиадиспетчеры, даже если началась война, не могут покинуть работу, пока не проводят из вверенного им неба последний гражданский самолет. Врачи… В киевской больнице Охматдет (Охрана материнства и детства) лежит пятнадцатилетняя девочка Катя, у Кати острый лимфобластный лейкоз, рак крови, ее готовят к трансплантации костного мозга. Уже неделю Катин пораженный болезнью костный мозг намеренно убивают ядовитыми лекарствами, чтобы на его место пересадить стволовые клетки Катиной родной сестры. Если сейчас отменить трансплантацию, Катя просто умрет. Поэтому, несмотря на обстрелы, врачи Охматдета идут на работу и доводят трансплантацию до конца.

Но на работу идут и те, от кого не зависят ни человеческие жизни, ни функционирование систем жизнеобеспечения,

ни даже какой-нибудь требующий постоянного внимания механизм.

Торговец шторами Владимир Павленко в Одессе загружает в машину образцы своих товаров и к одиннадцати утра, как и было договорено накануне, едет к клиентке. В центре города на Дерибасовской уже громоздят противотанковые ежи. В опорных пунктах Территориальной обороны уже записывают добровольцев и раздают гражданским людям оружие. Русские военные корабли уже видны на рейде невооруженным взглядом. Русские военные самолеты летят над головой. А Владимир приезжает к клиентке и раскладывает перед нею на столе свои «солнцезащитные системы».

— Вы правда думаете, что сейчас время выбирать жалюзи? — спрашивает женщина. — Того и гляди сами окна повышибает.

— Я не знаю, — отвечает Владимир. — Но мы же договаривались вчера.

Так он отвечает, и еще некоторое время они с клиенткой рассматривают образцы штор и обсуждают, как лучше украсить окна в городе, в котором от окон теперь лучше вообще держаться подальше.

Люди просто не могут поверить, что их жизнь разрушена. Продолжают рефлекторно совершать привычные действия, как утопающий пытается сделать вдох под водой.

Юлия Лейтес некоторое время настаивает, что съемку поломанных цветов нельзя отменять, а когда фотографы, осветители, продюсер и владелец студии все же отказываются, Юлия надевает наушники. Очень хорошие наушники с шумоподавлением и любимой музыкой. Надевает и идет прощаться с отцом и бабушкой. Гуляет по центру Киева, ничего не слыша, как будто никакой войны нет.

Кинопродюсер Виктор Н., оставив дома жену и девятилетнюю дочку, едет в офис. Забрать кое-какие документы, уладить дела. Потом, опять же, чтобы уладить дела, едет к партнеру, дом которого расположен неподалеку от аэропорта Гостомель. На эти разъезды уходит целый день до вечера. В доме партнера Виктора застигает комендантский час. Виктор звонит домой предупредить жену, что не придет ночевать

сегодня. И все никак не может сообразить, что оставил жену и ребенка одних в штурмуемом городе и что в паре километров от дома, где он ночует, прямо сейчас разворачивается один из самых ожесточенных боев начала этой войны.

Медсестра Елена Чепурная в Чернигове тоже отправляется на работу. Елена работает в простой поликлинике, у нее нет пациентов, что находились бы в процессе трансплантации костного мозга. У Елены вообще сегодня нет пациентов. Только двое стариков откуда-то из загорода, выезжали затемно, про начавшуюся войну ничего не знали, помочь им невозможно, потому что ни одна больница уже не принимает плановых пациентов. Поликлиника пуста, весь персонал распускают по домам, но по коридору в крайнем волнении бегает начальник отдела кадров и пытается как-то законно оформить то обстоятельство, что вот прямо сейчас все врачи, медсестры, санитарки и гардеробщицы уйдут с работы.

— Напишите заявления на отпуск, — тараторит начальник отдела кадров. — Пожалуйста, прежде чем уйти, напишите все заявления на отпуск.

Елена пишет заявление на отпуск и идет домой. Пытается звонить матери и брату, живущим в деревне. Телефоны не отвечают. Пытается звонить дочери в Киев, дочь говорит, что жива и здорова и просит Елену немедленно уезжать на запад. Неподалеку от дома Елены горит разбитый бомбардировками аэродром. Но мост через Десну пока цел. Пару недель спустя его изрешетит российская артиллерия, а потом, чтобы помешать движению российских войск, окончательно разрушит артиллерия украинская. Единственная дорога на запад прервется. Половина зданий в Чернигове будет разрушена бомбардировками и обстрелами. Попадут снаряды и в поликлинику, где работала Елена. Судьба заявлений на отпуск, которые писали все сотрудники, останется неизвестной. Сгорели? Разлетелись от взрыва? Надежно припрятаны в подвале начальником отдела кадров? В любом случае просрочены, и совершенно не ясно, зачем было их писать, расходуя драгоценное время.

Просто люди не могут поверить, что жизнь их разрушена, и продолжают рефлекторно делать привычные дела.

Почвовед Алла Ачасова в Харькове, очнувшись от своего сна про льдину, говорит по телефону с учительницей детей о том, что те сегодня не пойдут в школу. Потом кормит детей и мужа завтраком. Потом одевается поприличней (хоть и остается в домашних тапочках) и принимает участие в зум-конференции об эрозии почв. Алла входит в учрежденную Организацией Объединенных Наций международную группу ученых, занимающихся проблемами глобального потепления. На английском языке 24 февраля 2022 года ученые эти обсуждают связь глобального потепления и эрозии почв. Алла слушает их из Харькова, где в ближайшее время пахать землю будут только реактивные снаряды, а главной причиной эрозии почв будет движение танковых колонн. Алла слушает и даже вставляет какие-то реплики, пока соседка не барабанит в дверь:

— Алла, ты что там сидишь? Бой на окружной дороге! Вставай, побегли в подвал.

Они бегут. Харьковская окружная дорога, за которую много дней будут идти ожесточенные бои, видна из окон Аллиного многоэтажного дома.

Горький язык

В первые же часы войны на телефон Алле начинают приходить сообщения, рассылаемые местными властями: «воздушная тревога, спуститесь в бомбоубежище», «не выходите на улицу, в городе идут зачистки», ссылки на карту бомбоубежищ. Подвал Аллиного дома обозначен на карте как бомбоубежище и подвал соседнего дома тоже. Но в этих подвалах вода. Не просто сыро, а воды по колено. Еще в качестве бомбоубежищ обозначены станции метро, но ближайшая к дому Аллы конечная станция Алексеевской линии новая, неглубокая, да к тому же идти до нее пятнадцать минут под обстрелом. Алла решает остаться дома, только загнать детей в прихожую, подальше от окон.

Младший девятилетний сын вот он. «Давай, быстро иди в прихожую и сядь на пол». А старшего пятнадцатилетнего сына нет. И мужа нет. По квартире из комнаты в комнату ходит только невозмутимая свекровь. Она очень старенькая и ничего не слышит. Для нее война еще не началась. Она спрашивает: «Алла, а чего дети-то не пошли в школу?» В этот момент грохо-

тать за окнами начинает так, что слышит даже глухая. «О Господи, — говорит старушка. — Война?» И, бормоча себе под нос, кажется, молитвы, усаживается в прихожей рядом с внуком. А старшего сына и мужа — нет.

Обстрел длится десять минут, двадцать минут, стены трясутся. Алла листает социальные сети. В соседском чате кто-то пишет, что у него выбило окна, кто-то — что в квартиру влетели и вонзились в стены металлические осколки, похожие на куски резаной арматуры. А кто-то пишет, что во дворе лежит на земле убитый мужчина — придите, опознайте, если кто ищет родственников. А мужа и старшего сына нет. Их телефоны не отвечают. Алла пьет валерьянку, но валерьянка не помогает. Запивает валерьянку коньяком.

Наконец дверь распахивается, и вот они на пороге — старший сын и муж. В руках у них по несколько пятилитровых баклажек питьевой воды. Рискуя жизнью, они ходили за водой, хотя водопровод пока работает. Отопление работает, электричество работает, телефоны работают, интернет работает. Младший сын, не очень обращая внимание на взрывы, сидит и режется в телефоне в «Майнкрафт» или другую какую-то компьютерную игру. Война на улице кажется ему не более реальной, чем война у него в смартфоне. В конце концов, мама ведь тоже в основном из социальных сетей черпает свои сведения о войне. «Мам, что ты так волнуешься?» — говорит младший сын. А старший сын и муж горды — добыли питьевую, бутилированную воду. Это все еще кажется важным, никто еще не может вообразить, что в подвалах Мариуполя люди будут сидеть совсем без воды или пить воду из канализации.

Никаких запасов еды у Аллы нет. Не запасала ничего, старалась не поддаваться паническим предвоенным настроениям. Початый пакет гречки, пшено, рис, макароны, мука, кое-какие консервы — дня на три-четыре, может быть, на неделю. На второй или третий день сидения в прихожей Алла отважится, выйдет на улицу и дойдет, пользуясь затишьем, до ближайшей продуктовой лавки. И купит там единственный продукт, который будет оставаться еще на опустевших полках, — изюм. На третий или четвертый день кое-как налажен будет в городе подвоз хлеба и раздача гуманитарной помощи. Аллин муж

будет вставать затемно и, несмотря на воздушную тревогу, по несколько часов мерзнуть в хлебных очередях. Обстрелы не смогут разогнать хлебных очередей.

Аллин старший сын под тем предлогом, что надо помочь отцу добывать продукты, будет сбегать на улицу, ходить по району и пытаться увидеть войну своими глазами. Однажды на улице в опасной близости от него упадет снаряд. Вернувшись домой, мальчик навсегда прекратит эти свои вылазки. В тот же день перейдет с матерью на украинский язык, хотя семья Ачасовых вообще-то русскоязычная. Алла и сама почувствует, что родной ее русский как-то стал горек на вкус — тоже начнет говорить с детьми по-украински.

Алла — русская по национальности, родом из Крыма. Одна из важных для нее групп в социальных сетях — это группа крымских одноклассников: поддерживают связи, пестуют счастливые воспоминания детства. В этой группе крымские одноклассники в первый же день начинают писать Алле, что та не видит реальности: «Россия на вас не напала, Россия защищается, вы сами восемь лет бомбили Донбасс». Или: «Русские войска вас не захватывают, русские войска пришли вас освобождать, ты просто не понимаешь». И Алла читает это, сидя на полу и прижавшись спиной к дрожащей от взрывов стене прихожей.

Второй важный для Аллы чат — это чат приемных родителей. Старший сын у Аллы — приемный. Люди, усыновившие сирот в России, в Украине, в Беларуси, общаются, поддерживают друг друга, делятся опытом, устраивают педагогические семинары или просто праздники. Так вот в день начала войны этот чат единомышленников делится на три части.

Русские приемные родители (не все, конечно, но некоторые) начинают с пеной у рта доказывать украинским, что Россия не нападает, а защищается, что Украина с надеждой ждет своих российских освободителей, что восемь лет украинцы бомбили Донбасс. «Кто бомбил? Я бомбила? — пытается возражать Алла. — Да мы же вместе с тобой вывозили из Донбасса сирот, ты на восток, я на запад». Но нет, не слышат.

Приемные родители из Беларуси осторожно сочувствуют и предлагают Алле бежать с семьей к ним в Минск. От Харько-

ва это ближе, чем Польша. Но предложения их неуверенные. Как позовешь украинских беженцев в Беларусь, если с территории Беларуси заходили в Украину российские войска?

Украинские приемные родители зовут настойчиво. Приезжайте к нам, к нам. К нам в Ивано-Франковск! К нам в Черновцы! К нам в Днепр, — зовет добрая знакомая Майя Баранова, директор днепровского детского дома.

Еда заканчивается, а обстрелы нет. Десять дней на полу в прихожей. Аллин муж практикует какую-то дыхательную гимнастику, успокаивающую нервы, и по ночам ему удается спать. Алла не спит десять суток. И наконец решается — бежать с детьми в Днепр.

Поезд во тьме

Машины у Аллы нет. Говорят, что с вокзала отправляются какие-то эвакуационные поезда. Но Алла не знает, когда и какие. На самом деле, есть сайт Украинских железных дорог uz-vezemo.com — пассажирские перевозки во время войны. Каждую полночь на этом сайте выкладывается расписание поездов на ближайшие сутки. В день, когда уезжает Алла, поездов с вокзала отправляется одиннадцать — во Львов, в Ивано-Франковск, в Днепр, в Одессу, в Хмельницкий, в Ужгород… Некоторые поезда бесплатные, некоторые платные. Но Алла не находит этого сайта. Почему-то Гугл не показывает его по запросу «эвакуационные поезда из Харькова» и ни по каким похожим запросам не показывает. Соседи советуют просто ехать на вокзал и ждать поезда.

До вокзала Алле пятнадцать километров. Общественный транспорт не работает. Пешком под обстрелами не дойдешь. В соседском чате гуляет список «тридцати героических таксистов» — так и называется: таксисты эти вроде как возят людей по Харькову, хоть и за несусветную цену. Но Алла звонит по этим номерам, и героические таксисты либо не отвечают, либо отказываются ехать за Аллой к самой окружной дороге, где идет бой.

Тогда Алла принимается обзванивать знакомых — не едет ли кто в Днепр на машине, не возьмет ли с собой. На пятом десятке звонков отыскиваются приятели, которые — да, едут,

да, есть три места в машине, да, возьмут. Завтра. Когда Алла звонит назавтра, приятели переносят отъезд. Опять на завтра. И еще раз на завтра. И в третий раз на завтра. Когда Алла звонит в четвертый раз, приятели говорят: «Прости, мы уже уехали, мы уже в Кременчуге».

Наконец кто-то из соседей в чатике дает Алле телефон священника Андрея Пинчука — дескать, тот возит беженцев на небольшом автобусе и шофером у него некий Ян, психолог и больничный клоун, в мирное время развлекавший и утешавший детей с онкологическими диагнозами.

Алла звонит. Голос у батюшки усталый и спокойный. На следующее утро священник и больничный клоун заезжают за Аллой и ее детьми. Нельзя только брать вещей, кроме одной небольшой сумки. Автобусик еще час колесит по городу, собирая беженцев, людей набивается под завязку — если бы у каждого был большой баул, все бы не поместились. На выезде из города к автобусу о. Андрея присоединяются еще несколько, да так и едут небольшой колонной до Днепра. А в Днепре…

— Ой, мама, тут трамваи ходят! — восклицает Аллин младший сын.

В Днепре работают магазины и даже аптеки. Сирены воздушной тревоги звучат, жители дисциплинированно направляются в бомбоубежища, но бомбежек нет. Люди передают из уст в уста упорный и обнадеживающий слух, что, поскольку в городе на улице Шолом-Алейхема располагается самая большая в Европе синагога «Золотая Роза», то чуть ли не главный смысл участия миллиардера Романа Абрамовича в переговорах между украинцами и русскими заключается в ее сохранении — поэтому Днепр и не бомбят. Всем хочется в это верить.

Тем не менее днепровские детские дома эвакуируются. Для сирот, многодетных семей и семей с приемными детьми зарезервирован целый эвакуационный поезд. Но приютившая Аллу и ее сыновей подруга, директор одного из детских домов Майя Баранова, не может отправиться в эвакуацию со своими детьми. У Майи тяжело болен муж, он почти не способен двигаться, Майя не может оставить мужа и отдает Алле и ее сыновьям свое место в детском поезде.

Поезд идет в полной темноте. Выключены фары локомотива, не горит свет в окнах. Едут в плацкартных вагонах по трое на полке. Проводники раздают чай и пюре быстрого приготовления, которое, чтобы приготовить, нужно просто залить кипятком. Когда кто-то из детей включает мобильный телефон, чтобы залезть в Тик-ток или поиграть в компьютерную игрушку, проводник бежит через весь вагон, топоча и ругаясь: «Что ты делаешь! Выключи! Выключи! Нас всех разбомбят!»

Костел святого Мартина

На следующий день ночуют во Львове. Какой-то спортивный зал наскоро переоборудован во временный приют для беженцев. На полу лежат матрасы. Белья или нет, или так много людей спало на этом белье, что Алла всерьез опасается чесотки и вшей. Устраиваясь на этом сомнительном матрасе, Аллин младший сын спрашивает:

— Мама, у Путина есть дети?

— Дети у Путина есть, — отвечает Алла. — У него души нет.

Наутро автобусы везут пассажиров детского поезда к польской границе. Долгая очередь, короткая проверка документов, и вот, стоит только ступить на польскую землю, как на Аллу накатывает волна если не счастья, то радушия. Волонтеры, волонтеры, волонтеры, предлагают кофе, еду, одежду, игрушки, одеяла. Зовут в теплую палатку. Рассказывают, какие и куда отправляются автобусы.

Вскоре весь детский поезд оказывается в приюте для беженцев в маленьком городке Костелец-над-Орлици, и там, разместив детей, Алла идет приготовить какой-нибудь еды на общей кухне. У плиты стоит женщина в мусульманской одежде. Алла здоровается, женщина здоровается в ответ. Не очень-то они и разговаривают, так, дань вежливости, кто да откуда. И вдруг, совершенно не повышая голоса, ровно и как бы даже отстраненно эта женщина в мусульманской одежде принимается рассказывать. Она тоже беженка, да. Но она беженка с 1994 года. Со времен первой чеченской войны так и скитается по приютам и лагерям беженцев, потеряла двоих сыновей и вот что говорит:

— Э-э-э, — говорит эта чеченка, — армии еще ничего, армии воюют друг с другом, бойтесь наемников, наемники воюют с людьми.

Не успевает Алла примерить на себя это двадцативосьмилетнее скитальчество и потерю двоих сыновей, как приходит сообщение от мужа. Оказывается, многие европейские университеты объявили, что готовы принимать к себе на работу ученых из Украины. Оказывается, и почвоведы тоже много где нужны. К сообщению своему муж прилагает довольно длинный список профессоров, готовых к сотрудничеству прямо сейчас. Некоторые фамилии Алла знает по научным работам, и больше всего ей хочется работать в Институте мелиорации и охраны почв в Праге.

Один телефонный звонок и — да, в Праге ее примут. Сотрудник института Ян Машек прямо сейчас, к сожалению, болеет ковидом, но жена Яна Машека готова встретить Аллу с детьми, на первое время поселить в Праге в маминой квартире, а к работе можно приступить уже первого апреля.

— Когда вы будете в Праге? — спрашивает Ян Машек, кашляя в трубку.

Но разве может беженец знать, когда и где он будет? За две с лишним недели, прошедшие с начала войны, Алла разучилась планировать больше чем на пару часов вперед. Когда я буду в Праге? Сейчас пойду узнаю, ходят ли из Костельца в Прагу автобусы. Если ходят, сяду на первый, в котором окажутся места. Или поеду кружным путем. Насколько кружными бывают пути? О, пути бывают очень кружными. Алла и Ян разговаривают, и становится очевидным, что при всем сочувствии чешский ученый не может все же вообразить, насколько зыбким и ненадежным стал мир для беженки из Харькова.

Так или иначе, автобус на Прагу находится, Алла с детьми до Праги добираются, жена Яна Машека встречает ее и селит в маминой квартире. А на следующий день Алла отправляется искать пункт приема беженцев, чтобы оформить документы, получить вспомоществование и определить детей в школу, хотя бы временно.

В Праге — уже весна, трамваи весело звенят, покупатели выходят из магазинов, влюбленные гуляют, держась за руки,

старики сидят на лавочках — как же люди не ценят этого своего счастья! Алла шагает по городу, где никогда прежде не бывала, идет по незнакомой улице и вдруг — видит его.

Это он! Ошибка исключена! Алла точно помнит. Перед Аллой возвышается посреди улицы тот самый Спасительный Замок из ее сна. Изжелта-черная стена, башня и широкие ворота, обрамленные тяжелыми колоннами. Предназначенная туристам табличка рядом со спасительным замком гласит, что приснившийся Алле перед самой войной Спасительный Замок называется Костел святого Мартина в стене.

Справедливости ради надо сказать, что пункт приема беженцев располагается не в самом костеле, а неподалеку.

ГЛАВА 2
В ЧЕТЫРЕХ СТЕНАХ

> *«Российские военнослужащие доставили более 40 тонн гуманитарной помощи для жителей Киевской области. В населенные пункты, взятые под контроль Российской армией, доставили продукты питания и предметы первой необходимости. Помощь включает в себя продукты питания — крупы, мясные и рыбные консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия, конфеты и сладости, бутилированную питьевую воду. Весь гуманитарный груз был передан жителям населенных пунктов Киевской области».*
> *Официальный телеграм-канал Министерства обороны России, 13.03.2022*

Сделать глупость

Мирный житель не может подготовиться к военному быту — это абсурд. Гражданские не должны быть на войне. Об этом после первого выстрела начинают талдычить населению всевозможные специалисты. Правительство шлет эсэмэски — бегите. Военные блогеры кричат в Фейсбуке и Ютубе — бегите, бегите! Если вы не военный, не ополченец и не волонтер Красного Креста — бегите! Кроме того, что вы подвергаете опасности себя и своих близких, вы еще и мешаетесь у всех под ногами. Военные не смогут толком стрелять, понимая, что вокруг полно мирных жителей. Ополченцы вынуждены будут спасать

вас, вместо того чтобы помогать военным. Волонтеры Красного Креста должны будут возить вам гуманитарную помощь, вместо того чтобы возить медикаменты для раненых. Бегите, глупцы!

Но мало кто бежит в первые дни войны. Вовремя устроить организованную эвакуацию может только та армия, которая нападает, не та, которая обороняется. В километровых пробках на выезде из города стоит ничтожный процент людей, которые должны бежать. В большинстве своем люди остаются и пытаются подготовиться к военному быту. И это абсурд. Военный быт как-то сложится, но не так, как показывают его в кино, и не так, как рассказывала бабушка. В Буче, Гостомеле или Мариуполе люди скупают сахар и гречку, но никто не скупает котелки и походные печурки — никому не приходит в голову, что нечем будет согреться, а еду придется готовить на костре. В попытках устроить военный быт мирные люди непременно совершают глупости.

Юлия Лейтес в своих модных наушниках, подавляющих внешние шумы и услаждающих слух прекрасной музыкой, идет неспешным шагом по родному Киеву, как будто нет никакой войны. Взрывов не слышно, вместо взрывов — музыкальные пассажи. Крещатик еще не перегорожен бетонными блоками и противотанковыми ежами. На Большой Житомирской, по которой Юля решает прогуляться, — да, люди спешно рассовывают чемоданы по автомобилям, но чемоданы Louis Vuitton, а автомобили дорогие и новые, с не разбитыми еще стеклами и не посеченные еще осколками снарядов. Юля прогуливается. Звонит мама:

— Где ты? Быстро иди домой. Сиди дома. Это блицкриг, Путин за пару дней победит. Просто посиди дома какое-то время! Просто посиди дома!

Ах да, война же, вспоминает Юля. Надо бы купить какой-то еды впрок. Заходит в модную булочную и покупает восемь круассанов. Черт побери, восемь круассанов — с шоколадом, с миндалем и с персиковой начинкой, — чтобы переждать войну!

Марина Полищук, сотрудница рекламного агентства в Киеве, казалось бы, ведет себя куда рациональнее, чем Юлия

Лейтес. Ранним утром 24 февраля Марина с женихом идут в ближайший большой супермаркет и покупают две большие тележки продуктов первой необходимости. Гречка, рис, сахар, консервы. В супермаркете невиданные толпы народа. Очередь в кассу — минут на сорок. Дети Марины от первого брака, девочки шести и одиннадцати лет — куда же их денешь, не оставишь же одних дома? — не выспались, устали, напуганы, капризничают. Люди раздражаются друг на друга, спорят из-за того, кому должен достаться последний пакет муки, ругаются из-за места в очереди. Но Марина непреклонно выстаивает очередь до конца и приносит домой запас еды на добрый месяц. Мало того, по дороге домой Марина заходит еще и в маленькую продуктовую лавку в своем квартале и договаривается с владелицей, что та будет писать в соседском чате, когда и какие ей завезут продукты.

Вот Марина стоит в подъезде своего многоэтажного дома — и у младшей дочки истерика:

— Мама, нельзя ехать на лифте! Нас учили, когда пожар или война, на лифте ехать нельзя.

Действительно, Марине в телефон приходят сообщения, рассылаемые местными властями и предостерегающие от пользования лифтами во время обстрелов. У детей в школе и в детском садике регулярно проводились уроки безопасности, и там тоже говорили…

— Мама, на лифте нельзя!

А жених уехал на работу, забрать из сейфа документы и деньги. И приходится Марине одной весь этот месячный запас еды тащить пешком на шестнадцатый этаж. Может быть, стоило купить продуктов поменьше?

Дотащив наконец продукты до квартиры, Марина готовит обед себе и детям, раскладывает еду по тарелкам, садится за стол и только тут понимает, что ничего не может есть. Буквально ни одного кусочка не может протолкнуть в горло — реакция организма на стресс. Дети тоже ничего не едят, так они напуганы и взволнованы. Чтобы занять чем-то детей и себя, чтобы унять тревогу, Марина затевает генеральную уборку квартиры: стирает пыль с книг, до которых сто лет не доходи-

ли руки, перемывает посуду, стоящую в шкафу и в общем-то чистую.

Из Киева Марина уедет на второй день войны, почти все запасы продуктов бросит дома. Так стоило ли закупать их, тратить драгоценное время беженцев?

Карина Ковальчук — домохозяйка. Маленькая и худенькая. Живет с пятилетним сыном в Оболонском районе Киева. Муж у Карины — певец, уехал на гастроли в Румынию. Без мужа Карина чувствует себя в полной растерянности. К тому же не может спать — как только засыпает, видит кошмарные сны о том, как в квартиру вламываются безжалостные солдаты, и сразу просыпается.

Муж звонит из Румынии каждый час. На второй день войны звонит и говорит, что друзья устроились в подвале соседнего дома, что там у них запасена еда на много дней, что сейчас один из друзей придет за Кариной и их пятилетним сыном. Карина пакует огромный чемодан, который не сможет сама тащить и из которого почти никакие вещи не пригодятся. Друг мужа приходит, берет ребенка на руки, волочет чемодан, они выходят на улицу, воет воздушная тревога. И тут Карина спрашивает своего спасителя, достаточно ли среди их продуктовых запасов вегетарианской еды. Карина вегетарианка. И муж ее вегетарианец. А что, если друзья мужа там в подвале собираются готовить гречку с тушенкой? Нет, нужно зайти в магазин, несмотря на вой сирены, отстоять очередь и купить три последних вегетарианских продукта, которые остались, — сладкие булки, огурцы и помидоры.

Татьяна Б., харьковчанка, домохозяйка, мать троих детей, жена шофера, сидит с детьми в прихожей, боится выходить на улицу за хлебом и решает сама испечь хлеб. Электричества уже нет, интернет появляется время от времени, но газ есть, мука есть, дрожжи есть и вода есть — что еще нужно хорошей поварихе, чтобы испечь хлеб?

Татьяна замешивает тесто, ждет, чтобы поднялось, ставит каравай в духовку, но хлеб не получается у нее впервые в жизни. Хлеб расползается, распадается на твердокаменные комки и отвратительную слизь. Татьяна замешивает тесто снова, и опять тот же результат. А ведь все всегда хвалили Татьянину стряпню.

Это магия какая-то. Пекари и кондитеры в кулинарных блогах не устают, конечно, говорить, что хлеб обязательно надо печь в хорошем настроении и с открытым сердцем, но разве кто-нибудь когда-нибудь воспринимал эти их слова иначе как пустую болтовню? Однако же нет, это правда — несчастный человек не может испечь хлеб. Тесто под руками несчастного человека расползается, распадается на комки и слизь. Не стоит и пытаться. Бегите! Не тратьте драгоценное время беженцев на неизбежные глупости, которые любой мирный человек совершает в начале войны. Так?

Не так. Анна Цимельзон, учительница химии из Лондона, волонтерка интернациональной группы «Рубикус», которая помогает беженцам искать пути побега, поезда, автобусы, пункты размещения, жилье и что еще может пригодиться, — так вот Анна Цимельзон считает, что глупости, совершаемые мирными людьми в первые дни войны, священны.

Бабушка Анны в июне 1941 года бежала от немецких фашистов из Таллина на Урал. Эстонская модница, всего годом раньше попавшая под советскую оккупацию, что она могла знать об Урале? Она даже вряд ли смогла бы показать Урал на карте. Эвакуационный поезд вез ее не в Свердловск даже, а в крохотный городок, название которого девушка впервые слышала. И она совершила типичную глупость мирного человека в начале войны — взяла с собой вечернее платье, ажурные чулки и туфли на высоком каблуке. Зачем это все во время войны на Урале?

Как бы ни было голодно, какую бы тяжкую и грязную работу ни приходилось делать ради пропитания, вечернее платье девушка не продала, туфли и чулки берегла как зеницу ока. Надела один единственный раз, 22 сентября 1944 года — в день, когда советские войска взяли Таллин. Надела платье, чтобы поехать с подругой в Свердловск, пойти в ресторан и на последние деньги отпраздновать освобождение родного города.

В том ресторане бабушка Анны Цимельзон встретила дедушку Анны Цимельзон, свою судьбу, свою любовь на всю жизнь — так что платье очень пригодилось.

Мы не знаем, какую роль в будущем сыграют круассаны Юлии Лейтес, пропавшие продукты Марины Полищук, веге-

тарианский сухой паек Карины Ковальчук, расползшийся хлеб Татьяны Б. К глупостям, которые совершают мирные люди в первые дни войны, я отношусь как к молитве — о мире, где есть чистая вода, где пекут хлеб, где кормят детей досыта, где едят круассаны с миндалем и абрикосовым вареньем, где носят вечерние платья, ажурные чулки и туфли на высоком каблуке. Посмотри на этих людей, Господи, их глупости обращены к Тебе.

Смириться и отчаяться

Несмотря на то, что сообщения, рассылаемые местными властями, настоятельно рекомендуют мирным жителям прятаться в бомбоубежищах, по подвалам люди прячутся только в первые дни или только в тех городах, которые захвачены, подвергаются шквальным обстрелам, как Мариуполь, или зачисткам и грабежам, как Буча.

Некоторое время люди пытаются обустроить подвал. В поселке Циркуны под Харьковом, в паре километров от окружной дороги, за которую идет ожесточенный бой, Алене Ключке звонит кума, живущая через улицу напротив:

— У вас погреба нету. Бегите к нам.

Алена с мужем и тринадцатилетним сыном перебегают улицу, на которой уже стоят российские войска. Слово «перебегать» вскоре получит на этой войне зловещее значение. Соседские чаты в Буче будут полниться сообщениями «он перебегал, и его застрелили». Но война только началась, военные еще настроены щадить мирных жителей, и Алена с мужем и сыном перебегают улицу благополучно.

Погреб у кумы большой для погреба, но маленький для комнаты, где должны разместиться пять человек. В погребе холодно, плюс два, и довольно сыро. На полках стоят заготовленные прошлым летом банки с маринованными огурцами и помидорами. В ящиках картошка и свекла прошлогоднего урожая. Это все кум и Аленин муж стараются вынести вон, чтобы освободить побольше места. Кум приносит деревянные поддоны, чтобы люди ходили по доскам, а не по влажному цементному полу. Приносит таганок, в котором можно развести огонь, устраивает импровизированный дымоход, выходящий

в вентиляционное отверстие. Расставляет стулья — ну, не на полу же сидеть. Раскладывает на поддонах матрасы — не на голых же досках спать. Матрасы быстро становятся влажными, но в целом получается даже уютно. Можно сидеть на стульях, смотреть на огонь, ловить то и дело исчезающий интернет и пытаться узнать из новостей и соцсетей, взяли ли уже русские Харьков. Сидят молча, уткнувшись в мобильные телефоны. Все беженцы свидетельствуют об этом — первые дни в подвалах люди все больше молчат, почти не говорят друг с другом, если не считать короткого обсуждения бытовых мелочей. «Дрова подкинь». «Надо за водой сходить». «Передай малому одеяло». «Говорят, телевышку разбомбили». Тишина.

Одновременно во всех украинских городах как минимум на востоке, на юге и на севере люди приспосабливают под жилье нежилые помещения. Ставят палатки на станциях харьковского метро. Строят в черниговском подвале деревянный настил, чтобы можно было закатить старика на инвалидной коляске. А в мариупольском подвале кипятят воду, потому что у одной из женщин схватки и вот-вот должен родиться ребенок.

Марина Полищук в Киеве решает не насовсем переселиться с дочками в подземную парковку под домом, а спускаться в подвал только тогда, когда объявляют воздушную тревогу. Но воздушную тревогу объявляют по несколько раз на дню, Марина живет на шестнадцатом этаже, и мы помним, что девочки ее наотрез отказываются пользоваться лифтом. По три-четыре раза в день Марина с детьми и вещами первой необходимости идет с шестнадцатого этажа на минус второй, а потом возвращается пешком с минус второго этажа на шестнадцатый. В конце концов, когда объявляют шестую или седьмую тревогу, Марина решает остаться в квартире, посидеть в прихожей на полу. Измученные хождением по лестнице девочки с ней соглашаются, несмотря на то что в школе на уроках безопасности их учили обязательно спускаться в подвал во время бомбежек. Это своего рода смирение. Наступает час, когда человек говорит себе: я больше не могу.

«Я больше не могу» человек может сказать и не словами, а всем телом. На словах Карина Ковальчук продолжает говорить мужу, звонящему из Румынии, что да, ей лучше с пяти-

летним сыном сидеть глубоко под землей и выходить на поверхность только ради телефонного звонка. Но на деле Карина заболевает. У нее жар, ломота в суставах, кашель, лекарств нет. И мальчик ее тоже заболевает. Мужу Карина может сказать, что возвращается домой из подвала хотя бы потому, что в квартире есть жаропонижающие в аптечке, а на самом деле это тела Карины и ее сына посредством жара и озноба говорят: я больше не могу, будь что будет.

Карина берет свой неподъемный чемодан и волочет домой. На этот раз друзья ей не помогают, отказываются помогать совершить поступок, который считают неразумным. На улице пусто. Карина не может перетащить чемодан через трамвайные пути. Пытается раз за разом — тщетно. Наконец вдали на трамвайный путях показывается мужчина в куртке с капюшоном, лица не видно. Карина пугается — а что, если он мародер? — но все же обращается за помощью: «Помогите дотащить чемодан, пожалуйста».

Мужчина оказывается мальчиком лет шестнадцати. Он дотаскивает Каринин чемодан до подъезда, дает Карининому сыну конфету и рассказывает, что идет искать отца, который служит в Территориальной обороне, то есть в гражданском ополчении. Хочет сражаться рядом с отцом, не может больше прятаться в подвале.

А бабушка Юлии Лейтес свое в подвале уже отсидела. Юля приходит к бабушке и дедушке в старинную квартиру на улице Грушевского неподалеку от Верховной Рады, чтобы позвать стариков бежать вместе с нею. Но бабушка говорит «нет»: «Никуда не поеду и прятаться в подвал не пойду. Я уже пряталась в подвале восемьдесят лет назад, когда Киев захватили немцы. Неужели опять прятаться? Нет, я больше не могу. Будь что будет».

Спастись самому

От этого отчаянного смирения один шаг до отчаянного эгоизма. Помните друзей Аллы Ачасовой, которые обещали вывезти ее с детьми из Харькова на своей машине, но уехали, даже не предупредив, что уезжают? Так вот это не единичный случай. Люди сидят одни с детьми в четырех стенах под обстрелом,

не чувствуют ни от кого вокруг ни сопереживания, ни помощи и решают — ну, так и я никому не буду помогать. Буду выбираться сам.

В Харькове Захарий Б., пока измученные дети спят на полу в прихожей, тихонько разговаривает с женой, той самой, у которой не получился хлеб. Они решают, что если и придет избавление, то только от россиян. Дальше рассуждения выстраиваются в безупречную логическую цепочку. Россияне захватят город, и стрельба прекратится. Россияне захватят страну, и наступит мир. А если россияне медлят со взятием Харькова, то понятно же, что делать — надо бежать в Россию. В России высокие зарплаты. В России обустроенные города, украшенные несусветной иллюминацией. В России государственный язык — русский, родной язык Захария и Татьяны. Кстати они и припоминают — да, ущемляли: от них, русскоязычных, требовали заполнять официальные бумаги на украинском, от их детей требовали учить украинский язык в школе.

Несколько дней Захарий и Татьяна сидят в прихожей своей квартиры и ждут, когда русские возьмут город. Но быстро не получается. Обстрелы продолжаются. Под обстрелами — многочасовые смертельно опасные очереди за хлебом.

Тут Захарий находит выход. Он шофер, некоторые его сослуживцы работают на хлебных фургонах, развозят эту главную для почти окруженного города ценность — хлеб. И по многовековой традиции кумовства и коррупции, прежде чем привезти хлеб в булочную, раздают его своим без всякой очереди, но с небольшой наценкой. Хлеб у Захария есть, но нужны ведь и другие продукты. И как назло, из сослуживцев на их транспортном предприятии никто не развозит ни молоко, ни консервы, ни гречку с рисом.

Тогда они решают бежать. В Россию. Больше всего Захарий боится украинских блокпостов, выдумывает правдоподобную историю, что едет, дескать, хоть и на восток, но не в российский Белгород, а в деревню на территории Украины, где у него дом, погреб, запасы картошки, солений, тушенки и безопасный кров для детей. Украинские солдаты на блокпостах беспрепятственно Захария пропускают. Понимают, наверное, что врет, но видят троих детей в машине и пропускают. По рос-

сийскому телевидению можно услышать много историй о том, как украинские солдаты беженцев задерживали, обзывали предателями, обстреливали их машины. Но Захария свободно пропускают три украинских блокпоста.

И вот, наконец, первый российский блокпост. Захарий не верит. Подозревает, что это украинские военные нарочно притворяются российскими военными, чтобы Захарий выдал свои пророссийские настроения, и тогда — смерть. Подъезжают ближе. Солдаты с красными повязками на рукавах. На бронетранспортере буква «Z». Нет, Захарий не верит, это засада, сейчас его намерение бежать в Россию раскроют. Но тут Захарий видит у солдат в петлицах черно-оранжевые георгиевские ленточки. И это верный знак. Захарий убежден, что украинские солдаты, даже ради маскировки, не могут надеть георгиевскую ленточку, как вампир не может надеть православный крест или ожерелье из чеснока. А уж когда подошедший к машине солдат открывает рот и начинает задавать вопросы, Захарий совсем успокаивается — русский акцент, не может ни один украинец иметь такого акцента.

Свою историю Захарий рассказывает мне на территории России в одном из пунктов временного размещения беженцев. И это исключительная история. Даже на территории России таких, как Захарий, пророссийски настроенных беженцев, по моим впечатлениям, процентов десять, не больше. Как правило, люди благодарят за приют, за еду, за одежду, но мечтают вернуться домой и свои рассказы о войне начинают со слов: «Вы на нас напали».

Принести жертву

Чаще в разговорах беженцев я слышу истории не про эгоизм, а про маленькое бытовое самопожертвование. Возможно, это первобытный инстинкт — пожертвовать что-нибудь, чтобы спастись.

Юлия Лейтес, попрощавшись с бабушкой — наверное, уже навсегда, сколько там старикам осталось, — идет в модных своих наушниках по любимому Киеву к отцу. Не захочет ли папа поехать с ней куда-нибудь на запад? Но отец отказывается. Не поедет, да и не на чем ехать. Отдал свою машину

друзьям, которые иначе не могли вывезти из Киева детей. Вот она — жертва.

Виктория Светлич уезжает с дочкой, но до слез жалеет остающееся в квартире старинное пианино и, главное, цветы. У нее дом полон цветов. Орхидеи, лимоны, пальмы. У Виктории, что называется, «зеленые пальцы» — все растет. Виктория ставит цветы в тазы с водой, но сколько продлится это беженство? Месяц? Год? Всю жизнь? Все равно ведь цветы засохнут. Так думает Виктория, но встречает в подъезде соседку, и та предлагает выставить цветы на лестничную площадку. Эта соседка всем беженцам из своего подъезда предлагает выставить на лестничную площадку цветы. А она никуда не уедет и будет поливать все эти цветы, пока жива. Маленькая бытовая жертва.

Карина Ковальчук, оправившись от своей простуды, берет сына и огромный свой чемодан и отправляется на вокзал, чтобы для начала добраться к родителям в Черновцы, а там уж и к мужу в Румынию. Разумеется, в дорогу Карина запасается вегетарианской едой: яблоки, хлеб, даже удается добыть несколько коробочек йогурта.

На вокзале такая толпа, что сесть в первый поезд Карине не удается. Другие поезда отправляются не по расписанию, даже не по тому расписанию военного времени, которое каждые сутки ровно в полночь вывешивают на сайте Украинских железных дорог. Карина ждет поезда и знакомится с молодой женщиной, сидящей рядом не на чемодане даже, а на маленькой спортивной сумочке — все, что успела взять. Эта женщина учительница из Чернигова, бежала впопыхах, ни денег нет, ни еды, не знает, как быть дальше. Несколько часов они болтают в ожидании поезда, и вот, наконец, поезд на Черновцы объявлен. Карине надо бежать, успеть, пока поезд не набился под завязку. Но прежде чем бежать, она распахивает чемодан и сует, сует этой женщине в руки всю еду, которая у нее есть, — яблоки, хлеб, йогурты. Ничего не оставляет даже ребенку. До Черновцов поезд будет идти больше суток. Все это время кормить Карину будут соседи по купе. Маленькая бытовая жертва, я сказал? Но разве это маленькая жертва, когда одинокая женщина с ребенком, едущая в неизвестность, отдает почти незнакомому человеку всю свою еду?

Про маленький город Бучу, который стал известен на весь мир, когда под российской оккупацией в нем погибли сотни мирных жителей, есть трогательная легенда. Про семью, которую завалило в подвале разрушенного дома так, что без помощи профессиональных спасателей люди не могли выйти. И говорят, какая-то дворничиха или уборщица, несмотря на строжайший запрет российских военных покидать подвалы, приходила каждую ночь и кормила этих людей через узкую щель между бетонными плитами.

Я не смог проверить достоверность этой Легенды о Бесстрашной Дворничихе, но если эта самоотверженная женщина действительно существует, то настоящим абзацем я ходатайствую о присвоении ей звания Героя Украины.

Просить пощады

В Буче среди прочих свидетельств беженцев, коротких и разрозненных, порталу The Insider удалось взять интервью у некой молодой женщины по имени Кристина. Кристина рассказывает, что наступил день, когда ей пришлось просить пощады у российских солдат, уже не расположенных никого щадить. Такой день обязательно наступает. Способность терпеть подходит к концу. Люди покидают подвалы и обращаются к солдатам неприятеля — пощадите, отпустите, помогите уйти. Странно просить помощи у людей, ввергших тебя в беду, — но больше не у кого.

Кристина выходит из подвала. На улице уже лежат тут и там мертвые люди. Кристина идет к солдатам, возможно, тем самым, которые убили этих людей. Спрашивает, можно ли уехать с маленьким ребенком. Солдаты отвечают: нет. На машине уехать нельзя, в любую машину солдаты будут стрелять без предупреждения. Но можно уйти пешком.

Кристина сажает ребенка в коляску и идет, огибая трупы, лежащие посреди мостовой. Не оглядываться. Не смотреть по сторонам. Толкать свою коляску.

Так Кристина с ребенком проходят один блокпост, второй, третий… Но стоит Кристине сделать за третий блокпост пару шагов, как кто-то из солдат кричит в спину: «Стоять!» Кристи-

на замирает и поднимает руки. И ждет выстрела. Но вместо того, чтобы стрелять, солдаты говорят: «Идите».

Десятки раз разные беженцы, не сговариваясь, рассказывают мне о том, что военные их пропустили, никак не обижали и даже помогли. Так они рассказывают, но я думаю, это «ошибка выжившего». Если бы солдаты на третьем блокпосту решили не пропустить Кристину, а расстрелять, она бы ничего не рассказала. Тот мужчина на велосипеде, убитый в Буче, тот, фотография которого обошла все мировые информационные агентства, — ничего не рассказывает. Та расстрелянная семья в машине — ничего не рассказывает. Вот почему получается, что рассказы о благородстве военных мы слышим от самих беженцев из первых уст. А рассказы о зверствах часто бывают косвенными свидетельствами.

Алена Ключка в Циркунах под Харьковом, когда заканчивается еда, подходит к российскому офицеру, который стоит на ее улице со своим орудием. Подходит и говорит, что у нее нет еды для ребенка. Офицер зовет солдат и просит поделиться кто чем может из сухпайка. Солдаты делятся. Через минуту у Алены полные руки галет, консервов, хлеба.

Тогда Алена спрашивает, нельзя ли ей с мужем и сыном уехать как-нибудь, машины у них нет. Офицер обещает, что через пару дней у них будет ротация войск. Приедет автобус со свежими бойцами, а тех уставших, что делились с Аленой галетами и консервами, увезут в тыл.

— Я постараюсь посадить вас в этот автобус, — говорит офицер. — Вы где живете?

Алена указывает дом кумы, где они сидят в подвале.

На второй день этот офицер приходит и стучит в стену. Этот оккупант говорит:

— Извините, я вас невольно обманул, ротации не будет.

Что это за артиллерийское училище, где учат такому обращению с мирным населением на захваченных территориях?

Он говорит:

— Я могу только довести вас до блокпоста, и там, надеюсь, ребята смогут подсадить вас по одному в проезжающие машины.

Этот офицер действительно доводит Алену, ее мужа и сына до блокпоста. Машин с беженцами через блокпост проезжает довольно много. В некоторых есть по одному свободному месту. Солдаты останавливают машины, и этот офицер спрашивает водителей:

— Возьмете одного человека?

Сначала в попутную машину сажают мальчика, потом в следующую машину — женщину, в третью машину — мужчину. Офицер возвращается к своему орудию, только убедившись, что вся семья его беженцев уехала благополучно.

Конечно, это «ошибка выжившего». Конечно, солдаты вражеской армии выглядят благородно в рассказах тех, кто выжил и спасся, а те, что погибли, молчат.

Но факт остается фактом: в России есть как минимум одно артиллерийское училище, где некоторых курсантов учат делиться с мирными жителями едой, щадить безоружных, помогать беженке нести чемодан.

ГЛАВА 3
ПОБЕГ

> *«Начиная с 4 марта ежедневно исключительно в гуманных целях Российская Федерация предоставляет гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях, из них по одному гуманитарному коридору в Россию и еще по одному — через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины. На всех маршрутах Вооруженные Силы России неукоснительно соблюдают „режимы тишины“, несмотря на то, что это замедляет темпы ведения специальной военной операции. Но это делается исключительно в интересах спасения мирных граждан».*
> *Официальный телеграм-канал Министерства обороны РФ, 25.03.2022*

Перекресток в Буче

Таня Х. сидит в машине с мужем и семилетней дочерью. Девочке строго-настрого велено не поднимать глаза, смотреть только в пол. Сама Таня тоже старается не поднимать глаз. Машина стоит на месте пять часов. С десяти утра, а теперь три часа дня.

На календаре — 9 марта 2022 года. Таня, ее муж и дочь не ели, не пили и не ходили в туалет все это время. Машина стоит на перекрестке. Перекресток находится в Буче, маленьком городке, который вскоре станет известен на весь мир четырьмя сотнями погибших под оккупацией мирных жителей. Спереди, сзади и сбоку от их машины стоят еще машины, еще, еще… Таня говорит, что всего машин около трех тысяч. Они ждут, что откроется гуманитарный коридор и можно будет покинуть город. Но гуманитарный коридор не открывается. Таня вообще плохо представляет себе, как должны открываться гуманитарные коридоры. Что должно произойти? Придет русский регулировщик в военной форме и начнет махать зеленым флажком, направляя колонну машин? Или белым флажком?

В любом случае, нет никакого регулировщика и никаких сообщений об открытии гуманитарного коридора. По перпендикулярной улице проходит колонна российских танков. Примерно через час колонна возвращается обратно. Или это уже другие танки? Таня не очень разбирается в разновидностях военной техники и знаках различия российских воинских подразделений. Только успокаивает себя, что если едут на танках, значит, не наемники и не кадыровцы — молва уже успела приписать особую жестокость бойцам частной военной компании «Вагнер» и спецназу из Чечни.

Танина семья прожила в оккупированной Буче четырнадцать дней. Первые дни Таня даже пыталась работать, вернее, наведываться на работу в то отделение крупной страховой компании, которым заведует. Офис находится на улице Вокзальная. На второй день войны Таня совсем уж было дошла до работы, повернула на Вокзальную из-за угла и остолбенела — улица была завалена мертвыми телами. Российские солдаты и люди в штатском лежали на мостовой вперемешку. Что тут произошло? Что это могло значить? В социальных сетях писали, что это россияне обстреляли город, несмотря на то, что в него уже вошли их собственные войска. Или это украинская армия обстреливала российские воинские колонны и под обстрел, кроме военных, попали и мирные жители? Или россияне прикрывались мирными жителями и утащили их с собой на тот свет? Таня не смогла разобраться, что там на улице Вок-

зальная произошло. Просто постояла минуту в оцепенении, развернулась, побежала домой и с тех пор две недели из дома не выходила.

На второй день войны отключился свет и пропала вода. Таня хотела уехать, 25 февраля многие уезжали. Танины соседки — две женщины и двое детей — сели в машину и направились в сторону Киева, но через два часа вернулись, грязные и окровавленные, рассказали, что их машину обстреляли на российском блокпосту, но, слава Богу, никого почти не ранили. Пришлось вылезти из машины и ползти через поле, слушая, как свистят пули, а детей понукая, чтобы двигались, но не пытались встать. До дома добрались ползком или перебегая переулками. А в доме даже не было воды, чтобы отмыть этих соседок и их детей от мартовской холодной грязи. Глядя на них, Таня уезжать побоялась.

На следующий день власти города объявили, что с вокзала отправляется эвакуационный поезд. Тяжело было даже подумать о том, чтобы пройти по Вокзальной улице. Да еще с ребенком! Как вести по трупам дочь? С завязанными глазами? Было страшно, но Таня собирала вещи, пока городские власти не объявили, что эвакуационный поезд уже переполнен, больше никого взять не смогут и граждан просят не подвергать себя лишней опасности и не ходить зря по улицам. Еще один эвакуационный поезд обещали на следующий день, но к ночи взорвали железнодорожный мост, и отъезд сделался невозможным.

Зато электричество починили и на полтора дня дали воду. Таня успела наполнить водой ванну и все имевшиеся в доме бутылки, кастрюли и чайники. Потом отключили газ. И свет. И опять воду.

Выходить на улицу не имело смысла. Магазины в городе были разграблены, в них нельзя было добыть еды. Аптеки тоже были разграблены. Из окна Таня видела, как российские солдаты загоняли людей в подвал гимназии напротив ее дома. В социальных сетях люди из этого подвала писали, что заперты там, хорошо еще что не расстреляны, потому что и свидетельства о расстрелах на улицах социальные сети приносили ежедневно.

Каждый день с двух до трех часов дня бомбежки и обстрелы прекращались — видимо, у военных был обед. Таня

видела из окна, как в это время люди выходили на улицы, отправлялись покормить животных, проведать родных, собрать на полу в разгромленном супермаркете рассыпанное пшено. Или получить пулю, если российский солдат заподозрит в тебе шпиона или наводчика или посчитает бомбой пакет с пшеном у тебя в руках.

Таня во время обеденного затишья ходила только по своему подъезду. Жильцы организовались, заперли подъездную дверь, выставили и сменяли у двери дежурных, которым предстояло невесть как остановить солдат, если те вдруг начнут ломиться. А лестничные площадки превратились в импровизированный рынок для натурального обмена. За деньги на лестничных площадках никто ничего не покупал. Меняли крупу на сахар, тушенку на сало, кофе на сигареты. На десятый день в квартиру через две от Таниной влетел снаряд. Лестничный товарообмен стал куда более скромным и осторожным, люди предпочитали сидеть в квартирах и следовать правилу двух стен, то есть прятаться в прихожей, так чтобы от улицы людей отделяло как минимум две стены. К концу второй недели даже во время затиший на лестницу выходить почти перестали, менять стало нечего. Еда кончилась. Наступили голодные дни.

В один из первых голодных дней, 9 марта, в Танину дверь постучала соседка сказать, что открывается зеленый коридор для частных автомобилей. И Таня с мужем решили ехать. И вот они уже шестой час стоят на перекрестке, а гуманитарный коридор не открывается.

Таня оборачивается, чтобы утешить дочку — не бойся, малыш, не поднимай глазки, смотри вниз, — оборачивается и вдруг видит, как третья или четвертая машина позади них вдруг выруливает из стоящей колонны и едет к перекрестку по встречной полосе, доезжает до перекрестка и поворачивает в сторону Киева. Таня закрывает уши и зажмуривается. Ждет выстрела из гранатомета или автоматной очереди. Но нет выстрелов. Таня открывает глаза и видит, что за первой машиной в сторону Киева направляется вторая, третья, четвертая… Колонна приходит в движение. Машины, стоявшие спереди, уехали, дорога свободна. Машины, стоявшие сзади, объезжают

Танину машину. Многие машины без стекол. Многие посечены осколками. Почти на всех машинах белые простыни, наволочки или полотенца с надписью «Дети». «Ну что ты стоишь, поехали», — говорит Таня мужу. И они едут.

Колонна движется медленно. По обочинам дороги мертвые люди. Не поднимай, малыш, глазки, смотри в пол. Впереди — российский блокпост. Доехав до него, колонна замирает.

Неизвестно, получали ли российские военные приказ об открытии гуманитарного коридора или просто, завидев колонну в три тысячи машин, решили, что раз люди едут, значит, коридор открыт, но, так или иначе, солдаты колонну пропускают. По одной машине, довольно тщательно обыскивая, пролистывая фотографии в телефонах и выбрасывая сим-карты в придорожную канаву, забирая себе ценные вещи, например компьютеры, если найдут, — но пропускают. Вот так ааколонна преодолевает четыре российских блокпоста. Когда последний блокпост пройден — уже ночь. И колонна растянулась километров на десять, а то и пятнадцать.

Они едут в темноте по направлению к Киеву, и вдруг над их головами загорается небо, разворачивается артиллерийская дуэль. Ракеты, снаряды, системы залпового огня — Таня не знает, как называется все это смертоносное железо, которое с грохотом и воем летит над ними — но это точно не гуманитарный коридор. Останавливаться бессмысленно, возвращаться бессмысленно, колонна едет под огнем, а там как Бог даст. Не поднимай, малыш, глазки, смотри в пол, закрой руками ушки. К тому времени, как Танина машина добирается до украинского блокпоста на въезде в Киев, перестрелка над головой затихает.

Два часа ночи. В Киеве комендантский час. Поэтому в город пускают только тех, у кого есть жилье или родственники, кто может назвать точный адрес и телефон человека, к которому едет. Все остальные ночуют возле блокпоста на улице, на большой автомобильной парковке возле чернеющего поодаль — Таня не видит в темноте — какого-то склада или торгового центра. Люди жгут на автомобильной стоянке костры, а приехавшие из Киева волонтеры кормят людей, многие из которых не ели не то что с сегодняшнего утра, а уже несколько дней.

Лодочник

Бежать из оккупированных населенных пунктов — большой риск. Когда на одиннадцатый день войны Елена Чепурная уезжает из Чернигова, город еще под контролем украинских войск, но за город идут бои. Когда в боях затишье, украинские военные открывают мост через реку Десну и пропускают беженцев столько, сколько успеет проехать до начала новой перестрелки. Когда бои возобновляются, мост закрывают, колонна беженцев стоит и ждет окончания битвы, битва совсем рядом, битва — за мост. После многочасового ожидания под обстрелом Елене таки удается переехать реку, а еще три часа спустя она читает в социальных сетях, что мост, наконец, взорван, причем уничтожали мост одновременно и украинцы, и россияне — похоже, и той и другой армии хотелось положить между собою и противником непроходимую водную преграду и получить передышку в боях.

Передышки не получается, бои за Чернигов продолжаются с прежней силой, но моста в Чернигове больше нет. Автомобильная дорога в эвакуацию перекрыта. В этот момент на сцену выходит лодочник.

Лодочника никто не видел. Имени лодочника никто не знает. Лодочник действует только в темноте, по ночам. Из восьмидесяти дежурных волонтерской организации «Рубикус», которая помогает беженцам выезжать из воюющей Украины, лодочник общается только с одним-единственным человеком, и то отвечает на звонки не сразу и говорит очень уклончиво.

Лодочник никогда не называет заранее время и место, где он готов принять беженцев в свою лодку, чтобы переправить через реку. Точку на другой стороне Десны, где он беженцев высадит и куда за ними должны приехать автобусы, этот таинственный человек тоже не называет заранее. Часто бывает так: когда люди уже идут к лодке, лодочник называет волонтеру место, в которое он беженцев повезет. Волонтер связывается с водителями автобусов, но те в означенную точку отказываются ехать, прослышав, что в этом месте дорога заминирована. Тогда волонтер перезванивает лодочнику и просит пересмотреть конечную точку опасного путешествия. Но лодочник отказыва-

ется. Как правило, просто отменяет рейс, не подпускает беженцев к своей лодке и исчезает на несколько дней, не выходит на связь. Люди возвращаются домой и ждут. Два-три дня спустя лодочник вдруг звонит волонтеру и сообщает, что придумал новую точку отправления и новую точку прибытия. И вся операция начинается снова.

Точно сказать нельзя, но среди беженцев ходит слух, что лодочник как-то связан с украинской армией. Возможно, он и сам украинский военный. Во всяком случае, у него не маленькая рыбацкая лодка, а довольно большая посудина, в которую помещается тридцать человек. Перед каждым рейсом лодочник сообщает волонтеру, что «с хлопцами», то есть с украинскими военными, он договорился, а с русскими военными договориться нельзя, и поэтому лодочник не может гарантировать, что россияне не станут обстреливать их лодку, движущуюся в темноте по черной воде на самых малых, чтобы поменьше шуметь, оборотах.

С каждого принятого на борт беженца лодочник берет плату пятьсот долларов. Нетрудно посчитать, что за каждый рейс лодочник зарабатывает пятнадцать тысяч. Но не все эти деньги ему. Что значит «договориться с хлопцами»? Дать военным взятку, чтобы пропустили тихо движущееся в темноте речное судно? Возможно, российские военные обстреливают лодку не потому, что хотят убить беженцев, а потому, что хотят, чтобы лодочник платил взятки и им. Но лодочник жадничает, предпочитает не платить, а рисковать, или не может, в отличие от Вована, о котором речь впереди, договориться с российскими офицерами.

Скорее всего, жадничает. Как некоторые авиакомпании продают больше билетов, чем есть мест в самолете, в надежде на то, что кто-то из пассажиров не явится, а самолет заполнится все равно, так и лодочник на каждый свой рейс записывает больше людей, чем реально способен взять на борт. Кто-то из людей всякий раз остается на берегу, а лодка всякий раз заполнена под завязку, и пятнадцать тысяч долларов всякий раз у лодочника в кармане.

Ночь, черная вода, ни одного фонаря по берегам, медленно движется большая черная лодка. В лодке старики, дети,

женщины. В точке прибытия они медлят, боясь сойти на берег без всякой пристани. Лодочник торопит их, люди неуклюже перелезают через форштевень, оскользаются, проваливаются в ледяную воду, кто по щиколотку, кто по колено. Потом карабкаются на берег по скользкой грязи. Там на берегу их ждут автобусы, маленькие автобусы, которых прежде в Украине никто не видел.

Едва люди успевают рассесться, автобусы трогаются. Едут в темноте с выключенными фарами. Проезжают не больше километра и попадают под обстрел. Стреляют несколько пулеметов сразу. Пули бьются в борта и в стекла. Автобусы едут быстрее, еще быстрее, так быстро, как только можно ехать без фар по темной дороге. И наконец выезжают из-под обстрела.

Кто-нибудь погиб? Кто-нибудь ранен? На этот раз нет, слава Богу. Автобусы оказались бронированными.

82 автобуса

Эти бронированные автобусы, чтобы вывозить беженцев из зоны боев, покупает какой-то очень богатый израильтянин, скрывающий свое имя, но не скрывающий своего украинского происхождения. Так, во всяком случае, рассказывает Шимон Шлевич, один из основателей волонтерской организации Israel4Ukraine.

Шимон — живая иллюстрация иронической поговорки про «еврейское счастье». 23 февраля 2022 года он сел в самолет в Тбилиси, чтобы лететь в Тель-Авив с пересадкой в Киеве. А в Киеве решил задержаться на денек-другой, повидать друзей. Проснулся в пять утра от взрывов и с совершенно бесполезным авиабилетом из Борисполя в Бен-Гурион. В отличие от киевлян, которых держали дом, семья и неоконченные дела, Шимон не собирался оставаться в воюющей стране, а стремился домой, в Израиль, страну тоже воюющую, но в данный момент менее интенсивно, чем Украина. Два дня ушло у Шимона на то, чтобы разыскать туристическую компанию, готовую отправлять автобусы из Киева во Львов. Израильский опыт подсказывал Шимону, что по воюющим странам тоже ездят междугородние автобусы. Только цены по случаю войны взлетели. Шимон говорит, что в феврале и начале марта аренда пятидесятиместного

автобуса из Киева во Львов обходилась в десять тысяч долларов, к концу марта цена упала вдвое — люди стали приспосабливаться к войне.

Кроме Шимона, этим первым автобусом воспользовались еще тридцать человек, оказавшихся в эпицентре войны случайно и проездом. Их останавливали на блокпостах, разумеется. Украинские военные каждого мужчину подозревали если не в шпионаже, то в дезертирстве, но, завидев израильские или европейские паспорта, пропускали. От Львова до польской границы арендовать автобус было уже проще. Добраться от Польши до Израиля — совсем легко.

В Киеве и в дороге десятки друзей со всего мира помогали Шимону удаленно: слали карты дорожных маршрутов, выясняли, на каких пограничных пропускных пунктах поменьше очередь, советовали мотели, помогали с оформлением документов и покупкой авиабилетов. Наконец, просто присылали или выражали готовность прислать денег.

К концу путешествия из попутчиков Шимона и виртуальных его помощников сложилось целое сообщество людей, имеющих опыт организации трансфера по воюющей Украине, да к тому же обладающих личными впечатлениями о том, как устроены украинские дороги, блокпосты и пограничные пункты.

Вернувшись домой и переехав потом в Лондон, Шимон с товарищами организовал целую транспортную компанию, занимающуюся почти регулярным вывозом украинских беженцев на Запад. В парке этой компании теперь восемьдесят два автобуса, курсирующие из Киева, Днепра и Запорожья. В автобусах волонтеры предлагают, конечно, беженцам сделать посильные пожертвования, но это крохи, так что и деньги на всю свою деятельность Israel4Ukraine собирают сами, начиная с тех друзей, что звонили Шимону в день начала войны и предлагали финансовую помощь. Есть маленькие пожертвования от тысяч людей, есть от десятков людей пожертвования многотысячные.

В колл-центре Israel4Ukraine более ста операторов, разбросанных по всему миру и денно и нощно отвечающих на звонки и просьбы о помощи. Их автобусы из Украины везут людей, но и обратно не идут пустыми, а наполняются гумани-

тарным грузом — детским питанием, консервами или, например, питьевой водой для Николаева, где перебит водопровод. За первые полтора месяца войны Шимон и его друзья организовали эвакуацию трех с половиной тысяч человек. Хотели было понемногу сворачивать деятельность, заметив, что поток беженцев истощается, но тут началась вторая фаза войны, «битва за Донбасс», — и поток забурлил снова.

Сотни людей, которых эвакуировала Israel4Ukraine, — это меньше одного процента всех беженцев Украины. Большинство едут сами или пользуются эвакуационными поездами и автобусами, которые предоставляет государство и международные гуманитарные организации вроде Красного Креста, но чиновники неповоротливы, если что-то идет не так, просто останавливают или отменяют конвой. К тому же волонтерских объединений, подобных тому, что создали Шимон и его друзья, уже сотни, так что их роль в эвакуации беженцев значительна.

Возможно, лучшим изобретением Israel4Ukraine стала анкета беженца, которую всего лишь нужно заполнить в интернете, чтобы за тобой приехали и спасли. Анкету придумал израильский программист и бизнесмен Алекс Гуревич. Она состоит всего из трех пунктов — имя, число членов семьи и телефон. Людям под обстрелами, людям, у которых от страха, бессонницы, голода и холода дрожат руки, этим людям трудно изложить о себе даже самые простые сведения. Поэтому только имя, число членов семьи и телефон. Оператор колл-центра откуда-нибудь из Израиля, Британии, Австралии или Канады быстро перезвонит, и сам факт его звонка вселит уверенность, успокоит — какой-то человек где-то на другом краю света думает обо мне. Оператор расспросит об обстоятельствах, даст инструкции, назовет время и место эвакуации, просто утешит, в конце концов. Оператор будет звонить в дороге, спрашивать, все ли идет по плану, при необходимости корректировать планы. Сам беженец тоже может в любой момент звонить оператору, спрашивать что угодно — и беженцы звонят. Шимон рассказывает, что даже если в автобусе, движущемся ночью по темным дорогам Черниговщины, Киевщины или Галичины, беженцу срочно потребовалось по нужде, он, как правило, не станет просить водителя остановиться, а позвонит своему

оператору колл-центра на другой конец света, и уж оператор перезвонит водителю, чтобы тот сделал санитарную остановку.

Вован

Еще одно важное отличие волонтерской эвакуации беженцев от эвакуации, которую организуют государство и Красный Крест, в том, что чиновники не умеют вывозить людей из горячих точек, из захваченного Чернигова или разбомбленного Мариуполя, а волонтеры умеют. Волонтеры умеют даже вывозить людей через линию фронта.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук неделями согласовывает открытие зеленых коридоров для беженцев, ведет переговоры на правительственном уровне, обращается в ООН, требует, взывает, но через два раза на третий случается что-нибудь непредвиденное, от перестрелки до простого вероломства военных, — и гуманитарный коридор закрывается, так и не начав работать.

Главы церквей затевают крестный ход, чтобы вывести детей и женщин из руин завода «Азовсталь», этой мариупольской крепости, которая продолжает держаться, когда сам город уже взят. Но, видимо, Бог теперь не так всемогущ, как прежде, и крестный ход отменяется.

Тут на сцену выходит Вован.

Когда человек, назвавшийся Вованом, прислал координатору сообщества «Рубикус» Рите Винокур свою фотографию и заявил, что хочет стать волонтером-водителем и вывозить людей из горячих точек, Рита даже отшатнулась от монитора. Уж больно у Вована бандитская рожа. Разбитый и уехавший на сторону нос, припухшие глаза, с вызовом глядящие в камеру, тонкие безжалостные губы, растянутые в саркастической улыбке, открывающей недостаток зубов, — хрестоматийный разбойник.

От услуг Вована, однако, Рита не отказалась. Вован взял двести долларов на бензин, записал имена и адреса стариков, которых предстояло вывезти, — и пропал без всяких позывных. С потерей двухсот долларов Рита быстро смирилась — сама дурочка, не надо было доверять такому башибузуку. Однако же через неделю Вован вынырнул из огня, вернулся и стариков-бе-

женцев привез. Более того, старики не могли на Вована нарадоваться, говорили: «Володенька такой молодец, такой молодец, просто нет слов».

Алекс Гуревич рассказывает, что в любой, буквально в любой горячей точке — в Чернигове, Мариуполе, Рубежном — обязательно находится такой сорвиголова. Проблема только в том, чтобы оценить как-то по телефону или по переписке в социальных сетях, не мошенник ли он. Алекс пытался выделить какие-то признаки, по которым можно отличить добросовестного сорвиголову от обманщика, но ничего не получилось.

Если незнакомый водитель звонит и говорит, что готов вывезти пять человек из штурмуемого Мариуполя по пятьсот долларов с человека и деньги вперед — это, скорее всего, мошенник? Да, но у Israel4Ukraine есть несколько примеров таких удачных рейсов, один из которых был осуществлен машиной-рефрижератором — беженцы буквально ехали в холодильнике до самого Запорожья.

Если водитель просит только деньги на бензин, а за свои услуги не ждет никакого вознаграждения, значит ли это, что перед нами бескорыстный филантроп и патриот? Ничего это не значит. Бензин на земле, охваченной войной, — серьезная ценность. Залив пять канистр в Запорожье, сорвиголова может переправиться через блокпосты и продать топливо впятеро, а то и вдесятеро дороже. И пропасть. Или вернуться, сообщить, что не нашел беженцев по указанному адресу, и проситься в следующий рейс.

Еще водитель может рассказывать, что, перевозя людей из Херсона через линию фронта, должен платить взятки на российских блокпостах. Но российские военные ведь не дают чеков, когда берут взятки, так что остается верить водителю на слово, что коррумпировал русских солдат, а не забрал деньги себе.

Отправляясь за беженцами, всякий водитель-сорвиголова не едет же пустым, а везет с собой гуманитарные грузы — питьевую воду, консервы, мыло, крупу, лекарства. И как проверить, если сорвиголова рассказывает, что гуманитарный груз полностью или частично отобрали на блокпосту российские военные? И даже если водитель шлет видео, на котором какие-то люди в штатском разбирают из его машины коробки

с едой, то кто эти люди? Действительно ли живущие в подвалах мирные жители Мариуполя? Или это родственники водителя? Или вовсе подставные лица?

Война. Ничего проверить нельзя. Инструменты финансовой отчетности на войне устроены шиворот-навыворот. Известно, например, что если везешь гуманитарный груз с лекарствами, то ни в коем случае не следует иметь на эти лекарства никаких документов, нигде не должно быть написано, сколько лекарства стоят. Потому что, если лекарства дорогие, солдаты на блокпосту потребуют денег, мотивируя грабеж словами: «Ух ты, дорогие какие! Тут надо платить пошлину!»

Единственный адекватный способ оценить добросовестность сорвиголовы-водителя — это поверить ему, перевести деньги и ждать, вернется ли, привезет ли беженцев. Если вернулся, привез, просится в следующий рейс и рекомендует в качестве нового водителя своего свата или кума, то разумно доверить новые рейсы и сорвиголове, и куму. Если водитель пять раз вернулся с беженцами, а на шестой раз уехал и пропал с деньгами, не спешите записывать его в мошенники — мог ведь и погибнуть. А мог устать, плюнуть на все, забрать деньги и раствориться в тумане войны.

Так или иначе, я весьма отчетливо представляю себе памятник посреди таврической степи — микроавтобус, посеченный пулями. За рулем Вован, Толян, Петро или Василь — везут беженцев, удивительные сорвиголовы, спасают людей, и Бог им судья, из безоглядной ли алчности или бескорыстно.

Место в очереди

Человеческие проявления, человеческие поступки на войне вообще трудно сравнивать с поступками мирного времени. Один и тот же человек с разницей в минуту может проявить самоотвержение и подлость, а потом опять подлость и опять самоотвержение. С разницей в мгновение зло может оказаться добром, а добро злом. Ваше впечатление о людях может целиком зависеть от того, до какого эпизода вы дослушали их рассказ.

Вот Карина Ковальчук, на вокзале в Киеве услышала объявление поезда на Львов, в минутном порыве отдала всю свою

еду незнакомой женщине, схватила пятилетнего сына и бежит. И волочет огромный чемодан.

Толпа вокруг становится все гуще. Карина уже и не идет сама своими ногами, а только пытается удержаться, не упасть, не потерять сына и чемодан в людском потоке. И поток несет ее к поезду.

О поезд человеческий поток разбивается примерно так же, как океанская волна разбивается о скалы, набегает и откатывает. Никакая полиция человеческие потоки не направляет. Девушки в форме пытаются толпу как-то дозировать и регулировать, но куда там. Не потерять ребенка и чемодан на перроне так же трудно, как не потерять ребенка и чемодан в морском прибое. Вот толпа нахлынула, несколько людей протиснулись в вагон, но потом какая-то грузная женщина срывается со ступенек и человеческий прибой тащит Карину назад. «Тише! Тише! Женщину задавили!»

Толпа раскачивается, опять несет Карину к поезду. «Смотри за чемоданом своим, женщина! Держи как следует! Чулки рвешь, чулки!» Третьей или четвертой волной Карину с сыном на руках вносит в поезд, но в самый последний момент худенькой вегетарианке недостает сил сжимать пальцы. Карина выпускает чемодан из руки, чемодан падает, люди спотыкаются об него и топчут последние Каринины пожитки.

— Чемодан! Чемодан! — кричит Карина. — Передайте мне, пожалуйста, чемодан!

Какой-то мужчина слышит ее, поднимает чемодан и — движется с ним прочь от поезда. Украл! И ничего нельзя сделать. Не покидать же ради чемодана спасительный поезд. Мужчина с чемоданом все дальше. Украл! Или нет? Или это не он уходит с чемоданом от поезда, а волнующаяся толпа тащит его? Еще мгновение, и людская волна снова накатывает на поезд. Мужчина поднимает чемодан на вытянутых руках над головой и, как мяч в баскетбольную корзину, забрасывает Каринины пожитки в тамбур.

— Держи чемодан, девушка, держи, мальца береги!

Только когда чемодан оказывается в поезде, Карина понимает, какое это преступление против всех людей, оставшихся

на перроне, — иметь чемодан. Чемодан занимает место. Вместо чемодана в эвакуацию мог бы ехать какой-то человек.

В поезде тесно и темно. Люди делятся с Кариной и ее сыном едой. В темноте по запаху Карина пытается определить, вегетарианская ли та еда, которую ей предлагают. На всякий случай почти ничего не ест, только кормит мальчика.

На неизвестной темной станции поезд останавливается, двери открываются и в тамбур, где и так лежат вещи, а на вещах сидят люди, вдвигаются еще два огромных баула.

— Посторонись! Посторонись! — кричит решительная женщина, заталкивая баулы поглубже. — Дайте вещи поставить!

Потом эта крикливая женщина раскрывает свои баулы и достает бутерброды, любовно завернутые в бумагу, яблоки, мытые и предусмотрительно разложенные по пластиковым пакетам, бутылочки с фруктовым соком.

— Передавайте! Передавайте!

И передает, передает, передает, пока оба баула не оказываются пустыми. Взяв баулы под мышку, женщина покидает поезд, даже не успев дождаться, чтобы кто-то из ошарашенных беженцев сообразил поблагодарить ее и спросить, кормит ли она людей по личной инициативе или работает в какой-нибудь благотворительной организации.

Почти у каждого беженца есть история про незнакомых людей, которые накормили его. Почти каждый рассказывает о незнакомых людях, которые его приютили, хотя бы на одну ночь. Но не надо думать, будто у беженцев мало историй про то, как их обманули, или про архетипического персонажа — истеричку, которая пыталась выгнать из очереди на границе.

Марина Полищук с детьми и женихом выезжают из Киева через Тернополь и Львов на двух машинах. Марина везет своих дочерей, а жених свою бывшую семью, бывшую жену и ребенка. Шестисоткилометровый путь до Львова Марине удается преодолеть только за тридцать три часа. Потом еще от Львова Марина ведет машину через Ивано-Франковск до поселка Яворов, где малознакомые люди пустят Марину с детьми переночевать и где пару дней спустя российские ракеты упадут на военный полигон. Марина измотана. Марина спит. На следующий день

Маринин жених встает пораньше, чтобы занять ей очередь к пограничному пропускному пункту Шегини — Медыка.

Выспавшись, Марина грузит детей в машину и едет. Очередь многокилометровая. Многие люди, даже пожилые или с детьми, идут к пропускному пункту пешком. Марина едет вдоль очереди и поминутно получает вопрос, кто ей дал право проезжать к границе без очереди. Спокойно отвечает, дескать, мой парень встал рано утром, занял мне очередь, сейчас я встану на его место, а он на своей машине вернется в Киев, вы же понимаете, что мужчин по военному положению все равно не пропускают через кордон. Это срабатывает, но лишь до поры.

Когда Марина проезжает вдоль очереди километра два, какая-то женщина бросается ей на капот и колотит кулаками по капоту:

— Ты не проедешь! Давай назад! Очередь общая! Давай назад, сука!

Марина опять объясняет, что жених занял ей очередь с раннего утра. Безрезультатно. Опять говорит, что мужчин все равно не пропускают через границу, и очевидно же, что жених уедет назад, пустив Марину на свое место в очереди. Безрезультатно. Марина звонит жениху, жалуется, и тот просит передать трубку женщине, лежащей на Маринином капоте.

— Послушайте, — говорит он голосом, не терпящим возражений. — Пропустите мою женщину, она встанет в очереди на мое место, а я, пока она стоит, буду мотаться туда-сюда и подвозить к границе тех стариков, детей и беременных женщин, которые идут пешком.

Иными словами, Маринин жених говорит женщине, которая не дает Марине проехать, что провезет без очереди еще человек сто. Но парадоксальным образом женщина слезает с капота и говорит Марине:

— Проезжай.

Даже встав на заранее занятое женихом место, Марина ждет в очереди двенадцать часов. Еды у Марины много, бабушка еще в Тернополе наготовила внучкам целую гору блинчиков и котлет. Туалет — везде. Чтобы справить нужду, люди лишь на несколько метров отходят от машин и присаживаются в камышах, почти не стесняясь друг друга. Очередь движется

медленно-медленно. Все это время Маринин жених курсирует вдоль очереди туда и обратно и подвозит пешеходов — больше ста человек. И никто в очереди не возражает. Всем такое волонтерство представляется похвальным.

Наконец Марина у пропускного пункта. Жених последний раз привозит какую-то женщину с детьми. Марина выходит из машины, жених тоже. Они обнимаются и целуют друг друга.

Вот вам еще один проект памятника этой войне. Мужчина и женщина стоят посреди дороги на пропускном пункте Шегини. Стоят обнявшись. Расстаются Бог знает как надолго. Еще мгновение, и он вернется домой, чтобы вступить в Территориальную оборону, а она с детьми перейдет границу и окажется в лагере беженцев.

ГЛАВА 4
ПРИЮТ

«С украинской стороны продолжаются систематические обстрелы гуманитарных колонн и попытки переложить ответственность за собственные бесчеловечные деяния на подразделения российских войск. Так, только на текущей неделе зафиксировано 17 обстрелов мирных граждан, следовавших по гуманитарным коридорам».
Официальный телеграм-канал Министерства обороны РФ, 25.03.2022

Сортировка беженцев

Полог большой теплой палатки открывается. На улицу выходит молодая женщина, одетая так, как одеваются южане на севере — слишком тепло, хотя в Польше уже скорее весна. В этом своем пуховике, шапке и теплых сапогах женщина шагает по слякоти мимо других палаток, выстроенных вдоль дороги, что ведет к украинскому пограничному кордону.

Лагерь беженцев, как ни странно, немного похож на ярмарку, разве что не играет музыка и лица у людей совсем не счастливые. Но дымятся жаровни, испанцы готовят паэлью огромными сковородами, венгры помешивают раблезианским

половником гуляш в десятиведерном котле. Немцы жарят сосиски, кормят сосисками немецких же психологов, которые приехали помогать беженцам, но не нашли достаточно переводчиков и потому маются без дела.

Это Медыка, приграничный польский городок, лагерь первичного приема беженцев, где людей, бежавших из Украины, встречают, оказывают им первую помощь и сортируют. Да-да, как в военно-полевой медицине ключевой процедурой спасения людей является сортировка раненых, так и в деле приема беженцев — сначала сортировка.

Израильтянка — молодая израильтянка, волонтер ассоциации психологов — переходит границу, не предъявляя никаких документов. Пограничники уже знают ее в лицо, она переходит кордон двадцать раз на дню. Разве что улыбка, приветствие, не слишком политкорректная шутка о южной красоте, и вот женщина уже шагает вдоль очереди машин и пешеходов, выстроившихся с украинской стороны к границе.

Женщина смотрит внимательно. Вот почти новая машина, в салоне мама и двое детей-подростков, эти могут ждать. Вот автобус, не слишком комфортный, холодный, советских еще времен ПАЗик, но люди в автобусе довольно молодые — могут ждать.

А вот женщина с младенцем, стоит под мартовской изморосью и, кажется, совершенно растеряна.

— Пойдемте со мной.

— Я? Куда?

А вот пожилая женщина. Грузная, еле идет на опухших ногах. В руках у нее стул. Интересно, откуда она волочет за собой стул? Из Чернигова? Из Сум? Из Запорожья? Эта женщина проходит шагов двадцать, садится на свой стул и отдыхает. Потом встает, ковыляет еще двадцать шагов и садится отдыхать снова.

— Пойдемте со мной.

— Я? Куда?

А вот еще довольно благополучно выглядящая женщина с девочкой лет десяти. Но наметанным глазом психолог видит, что женщина эта не в себе, что руку своей дочери сжимает до боли, до посинения пальцев, что девочка морщится, терпит, но

не пытается вырваться, по опыту уже зная, что будет только хуже.

— Пойдемте со мной.

— Я? Куда?

— Переведу вас без очереди через границу.

Этих пятерых, распознав в них людей на грани полного истощения, израильтянка переправляет почти без проверки документов через кордон и ведет в свою палатку. А там их ждет Вика Лагодинская, которая мне все это и рассказывает.

Вика — волонтер. Немножко психолог-любитель, но главное — переводчик. Она россиянка по происхождению, еврейка по национальности, у нее IT-компания в Лондоне, многие ее программисты до 24 февраля работали удаленно из Украины, так что проблему беженцев Вика воспринимает как свою. Вика завербовалась в волонтеры через ассоциацию израильских психологов, и это было разумно — ее поставили в график и сказали, когда именно нужно приехать, чтобы заменить переводчика, работавшего до нее. В принципе волонтером в лагерь беженцев можно приезжать и без всякой предварительной аккредитации. Так сделали, например, испанцы: просто явились в Медыку со своими жаровнями, сковородками и ингредиентами для паэльи. Просто зарегистрировались, получили бейджики и кормят паэльей всех без разбора. Однако без предварительной аккредитации можно ведь оказаться и в положении немецких психологов — приехать приехали, но переводчиков им не нашлось, слоняются по лагерю без дела и пожирают сосиски.

Вика купила билет до Кракова, сняла на пару с подругой-психологом неподалеку от Медыки квартиру через Airbnb, арендовала в Кракове машину и отправилась в путь. Не доехав нескольких километров до Медыки, заблудилась в лесу, постучалась в какую-то избушку, вышел мужчина в трусах, махнул рукой — граница там. И вот Вика сидит в израильской палатке, а перед нею пятеро беженок от нуля до семидесяти лет.

Женщина с младенцем, едва войдя в палатку и разомлев от тепла, садится на пол и, кажется, засыпает. Нельзя садиться на пол, это только кажется, что в палатке тепло. Теплый — только воздух, нагнетаемый мощными вентиляторами. Но палатка стоит на земле. Земля холодная. А Вика не успевает

предложить молодой матери постелить на землю хотя бы одеяло — старуха придвигает свой стул к Викиному столу.

— Что у вас с ногами?

— Да язвы!

— Какие язвы?

— Да диабет, — старуха отгибает шерстяной чулок и показывает распухшие ноги в диабетических язвах, почти гангрену.

— Диабет?!

— Так у всех же диабет, — отвечает старуха невозмутимо.

— Что вы принимаете?

— Да ничего, травки.

Подобных случаев крайней запущенности хронических болезней у беженцев из украинской провинции Вика встретит множество. Гипертоническая болезнь, диабет, рак — совершенно не леченные. С этими людьми понятно что делать. Их надо отправить в медицинскую палатку.

Тем временем женщина на полу то ли потеряла сознание, то ли спит. Она сжимает младенца, спит и в то же время ее трясет от холода, который успел пронять все ее тело от земли. Вика встает, подходит к ней, наклоняется, трогает за плечо:

— Проснитесь, проснитесь, вы замерзнете.

Пытается бережно взять ребенка, но женщина во сне сжимает малыша мертвой хваткой и что-то бормочет на неизвестном Вике языке. Может быть, это цыганский? Хотя женщина на цыганку не похожа. Ее кое-как удается растолкать, увести за ширму, напоить горячим кофе, сунуть младенцу бутылочку с детским питанием, поскольку почти наверняка у такой изможденной женщины пропало молоко. Сидя на кушетке за ширмой, эта женщина держит в левой руке ребенка, в правой руке бутылочку, чтобы ребенок ел. А сама спит. С ней будет трудно. Ее нельзя отправить в лагерь временного размещения, ее нельзя даже посадить в автобус, везущий беженцев куда-нибудь вглубь страны, ей нужен заботливый и внимательный водитель-волонтер, который доставит ее прямиком в гостеприимную семью или в какой-нибудь женский кризисный центр. Такого водителя, такую семью и такой центр Вика будет искать в волонтерском чате и, конечно, найдет, но надо

сначала дать этой женщине поспать хотя бы четверть часа и расспросить ее — вдруг у нее где-то есть родственники, родная сестра в Праге, двоюродный брат на Кипре, вдруг? Тогда Вика найдет через волонтерский чат самолет на Кипр, а заботливый водитель повезет эту женщину в аэропорт и сдаст с рук на руки стюардессам.

Про третью-то женщину Вика и забыла. Она так и стоит у входа в палатку, так и сжимает до посинения руку десятилетней дочки.

— Проходите, — улыбается Вика, — садитесь, я постараюсь вам помочь.

— Я очень хочу в туалет, — отвечает женщина тихо, очевидно стесняясь этого своего желания, и с таким отчаянием, как будто хочет в уборную уже тысячу лет.

— Да, конечно, это вон там, — Вика показывает женщине, где расположены туалетные кабинки.

Но женщина не трогается с места:

— Я не могу оставить ребенка.

— Не беспокойтесь, я пригляжу за вашей девочкой. Как тебя зовут?

Но женщина не трогается с места:

— Держите ее за руку. Вы обещаете держать ее за руку все время, пока меня не будет? Я быстро, две минуты, обещайте!

— Да-да, конечно, — щебечет Вика, берет девочку за руку, ведет к стулу. — Садись. Как тебя зовут?

Женщина делает несколько неуверенных шагов к выходу из палатки, скрывается за пологом, отделяющим теплый воздух внутри от холодного воздуха снаружи, но в то же мгновение возвращается обратно.

— Вы не держите! Вы не держите ее! Держите всегда за руку, вы обещали! Две минуты! Неужели две минуты нельзя подержать?

Девочка покорно вкладывает свои измятые пальцы в Викину руку и тихонько постукивает пальцами по ладони — как тайный знак заговорщиков, секретное рукопожатие, дескать, вы же видите, мама не в себе, просто делайте, что она говорит, и не спорьте.

Как ни странно, с этой женщиной и этой девочкой все довольно просто — они отойдут. Они измождены не физически, просто сильно напуганы. К тому же эта женщина оставила в Украине восемнадцатилетнего сына, которому выезд запрещен по закону о военном положении. Вот и цепляется за дочь, но эта тревога утихнет. Проживут пару дней в безопасности и смогут самостоятельно влиться в один из беженских потоков, который худо-бедно приведет их к какому-то более или менее приемлемому размещению и социальной помощи.

Когда женщина возвращается из уборной, Вика, ни на секунду не теряя контакта, передает пальцы девочки в руку матери и сажает этих бедолаг в автобус, который отвезет их в гуманитарный центр тут неподалеку.

Гуманитарный центр

Шопинг-молл в Медыке, или вернее уже в Пшемысле, переделан в гуманитарный центр. Говорят, торговые центры в польских городках закрылись еще до войны, из-за эпидемии ковида. Там, где раньше красовались вывески Zara, Uniqlo или даже Christian Dior, теперь одна большая вывеска — «Гуманитарный центр». Общество заядлого потребления как-то само собой сменилось обществом, где главная функция людей — помогать другим. Общества потребления, про которое написаны миллионы экономических работ и которое мы считали залогом нашего процветания, — больше нет. Про общество гуманитарной помощи нобелевские лауреаты по экономике еще не успели написать никаких серьезных работ. Как оно устроено? Откуда берутся блага, которые перераспределяют в гуманитарных центрах? Как объяснить неравенство? Почему кто-то из проживающих в бывшем шопинг-молле окажется желанным гостем в доме успешного голландского адвоката на Майорке, а кто-то будет довольствоваться койкой в шестиместной комнате в хостеле на окраине Познани? Очевидно же, что для кого-то горький хлеб беженства так и останется горьким хлебом вечной неустроенности, а для кого-то беженство обернется началом новой куда более успешной жизни. Как это работает? Чем отличается «правильное» беженство от «неправильного»?

Где то место, в котором для беженца закладывается основа будущего успеха или будущего краха всей жизненной стратегии?

Полагаю, здесь, в гуманитарном центре.

На входе охрана. Если в приграничные палатки пускают кого попало, то в гуманитарный центр уже только зарегистрированных беженцев и зарегистрированных волонтеров.

Отсюда первое правило беженца — регистрируйтесь. Как цена великого произведения искусства зависит от провенанса, то есть истории происхождения и продаж, так и устроенность беженца тем лучше, чем непрерывнее цепочка регистраций, ведущая человека от полуразрушенного подвала в Чернигове или Мариуполе до приличного жилья и работы в Кельне или Барселоне.

Многие люди, сильные, молодые, богатые, слишком надеются на себя, пренебрегают регистрационными формальностями. Вот Юлия Лейтес, например, пренебрегала. Уезжала из Киева на дорогой машине с надежными и обеспеченными друзьями, в шутку называла себя VIP-беженкой, отказывалась от помощи. И что же? Ни с кем не посоветовалась о правилах вывоза животных, застряла в Белграде, где пришлось потратить кучу времени, чтобы зарегистрировать ее собаку по кличке Одесса. А ветеринарный врач все тянул и тянул с оформлением документов, все говорил и говорил, что в Украине к власти пришли фашисты, все врал и врал, будто бывал в Одессе и там националисты его, серба, очень сильно обижали. Эта болтовня и крючкотворство были не смертельны, но унизительны.

В большом бывшем торговом зале на ночь расставляют кровати. Днем убирают, чтобы поменять белье, продезинфицировать одеяла, подушки, матрасы и само помещение. Этим занимается польская армия. Практический смысл ежевечернего монтажа и ежеутреннего демонтажа ночлежки в гуманитарном центре — не допустить эпидемий. Боятся вшей, чесотки, тифа, холеры, ковида, в конце концов.

Но есть смысл и символический — не дать беженцам лежать. Мы увидим дальше, что в России беженцы, наоборот, лежат целыми днями, ничего не делают, играют в телефоне, листают новости, но никак не пытаются поправить свое положение — просто ждут. Ежеутренний разбор кроватей вы-

нуждает беженцев встать и идти куда-то — в банк, в паспортный стол, на вокзал, на биржу труда, в церковь — куда угодно. Главное — не лежать.

Я читал, будто некоторые египтологи полагают, что иероглифы внутри древних гробниц суть призывы, побуждения, обращенные к мертвецу: «Проснись! Ты не умер! Встань! Пойди представься богам! Начни свою загробную жизнь, иначе так и пролежишь тут целую вечность набальзамированной колодой». Не знаю, корректно ли я рассказываю о египтологии, но с беженцами дела обстоят именно так: второе непреложное правило беженца — не лежать днем, делать что-нибудь, пока открыты государственные учреждения. Начать свою загробную жизнь, потому что никакого возвращения к прежней жизни не будет.

На самом деле, когда кровати в гуманитарном центре разбирают и лежать больше нельзя, беженки (в большинстве здесь, конечно, дети и женщины) таки выходят на улицу, но — всего лишь покурить. Они стоят и перебирают фотографии в мобильных телефонах, показывают друг другу себя довоенных, в красивых платьях, с букетами, со смеющимися детьми на каруселях, с мужчинами, которые остались теперь в Украине воевать или ждать мобилизации. «Девочки, а кто-нибудь взял хоть одно красивое платье?» Выясняется, что платья не взял никто.

Только одна беженка по имени Марьяна взяла бигуди. Каждое утро Марьяна выходит в красивых локонах. Другие женщины время от времени просят у Марьяны эти бигуди просто подержать в руках. Как символ, материальное свидетельство прошлой жизни, к которой нет возврата, но мало кто из беженцев способен в это поверить.

С самого утра в гуманитарном центре открываются детская комната и стойки — стойки стран, транспортных компаний, стойки, где раздают гуманитарную одежду. Одежда — это важно. Третье непреложное правило беженца — следить за собой. Важно мыться, бриться, чистить зубы, причесываться, красиво одеваться. Люди, включая и государственных чиновников, подсознательно охотнее помогают тем, кто прилично выглядит, легче отождествляют себя с человеком в чистой одежде, чем с человеком в лохмотьях. В этом смысле Марьяна

с ее локонами и ежеутренним макияжем поступает правильно, просто не придумала еще, куда ей такой красавице поехать.

На стойках транспортных компаний — множество возможностей. Автобусы вглубь Польши, автобусы в Чехию, автобусы в Германию. Поезда по всей Европе, а в поездах как минимум первые три месяца войны — бесплатный проезд для украинцев. Беда только в том, что в большинство автобусов и поездов нельзя с животными.

Катя Л., волонтер гуманитарного центра в Вене, рассказывает, что по ее опыту каждая четвертая семья беженцев везет с собой питомца. Собаки, кошки, шиншиллы, хомяки, черепахи. Пожилой мужчина с дочкой, а может быть, даже внучкой, подсаживаются к Катиному столу. У девочки на коленях кошачья переноска. Мужчина спрашивает:

— Скажите, здесь есть кошачий туалет? Понимаете, у нас очень породистый кот, он делает свои дела только в лоток, никак иначе. Он терпит, понимаете?

Кошачий туалет в гуманитарном центре есть. Катя ведет мужчину и девочку в зоологический закуток. Кота выпускают из переноски. Несчастное животное не осматривается в незнакомом месте, не обнюхивает ничего, не крадется, как кошки это обычно делают, а прямиком направляется к лотку и принимается испражняться. Катя утверждает, что никогда в жизни не видела на кошачьей морде такого отчетливого выражения счастья, облегчения от обретенной наконец возможности пописать и покакать.

В этом-то и беда с домашними животными. Они выражают эмоции, мы им сочувствуем. Четвертое непреложное правило беженца гласит — никаких питомцев! Дети помогают беженцу устроиться, звери — мешают. Надо бы усыпить их, пристрелить, не тащить с собой — это же разумно. Но мало какой человек, даже убегая из-под обстрелов, способен бросить кота или пса. Многие люди ради своих зверей так и маются по гуманитарным центрам, не имея возможности найти приличное жилье. Многие ради зверей остались в зоне военных действий. Многие — погибли.

Американский доктор Евгений Пинелис, работавший в Пшемысле, рассказывает, что один ветеринар из Харькова

приехал в гуманитарный центр с двадцатью питонами. А на следующий день приехала жена ветеринара и привезла еще двадцать питонов. Сорок питонов жили у доктора Пинелиса в каморке за аптекой. Каждый день ветеринар показывал питонов всем желающим, давал питонов детям подержать на руках, читал о жизни питонов многочасовые крайне занимательные лекции и ходил по стойкам стран, выясняя, в каком государстве лучше всего жить не людям, а питонам. Наконец выяснил — Австралия. И волонтеры на стойках транспортных компаний принялись выдумывать, как переправить из Пшемысля в Сидней сорок огромных змей.

Стойки стран для того и устроены, чтобы беженцы могли собраться с мыслями и решить, в какой стране им будет лучше. К сожалению, большинство украинских беженцев никогда прежде не бывали за границей, не знают никаких языков, кроме родного, и весьма смутно представляют себе, как устроен мир.

На стойках стран и за столиками психологов волонтеры только и делают, что уговаривают беженцев принять разумное решение о том, куда надо поехать. Но разумны эти решения не всегда.

Вот, например, немолодая деревенская женщина с целым букетом хронических болезней. Ей предлагают отправиться на ферму в Германии — привычная среда обитания, хорошее социальное обеспечение для пожилых, отдельный флигель. Но нет, ей втемяшилось в голову, что надо жить в большом городе, потому что там больницы, там врачи, надо лечиться. Убедить ее, что больницы в немецкой провинции ничем не хуже столичных, нет никакой возможности. Из немецких городов она знает только Берлин и Гамбург. В результате вместо того, чтобы привольно жить на ферме в отдельном флигеле, живет в гамбургском хостеле в комнате на двоих.

Или другая женщина, молодая, экзальтированная, всю жизнь мечтала увидеть Париж. От других французских городов отказывается. В результате тоже живет в хостеле, на окраине французской столицы, в районе с дурной криминальной славой. Ни Елисейских полей, ни Монмартра, ни Лувра до сих пор так и не видела.

Несмотря на все старания психологов и волонтеров в гуманитарном центре, многие беженцы, выбирая страну проживания, делают ошибки. Поэтому пятое непреложное правило беженца, правило, которому надо следовать каждому человеку, пока еще не началась война, — путешествуйте! Смотрите мир, приглядывайтесь к обычаям, знакомьтесь с людьми — кто знает, может быть завтра, когда у вас на родине начнут стрелять, когда вы станете беженцем — эти странные люди приютят вас.

Гостеприимцы

Гостеприимцы — странные. Гостеприимцами в волонтерских организациях называют людей, которые готовы селить беженцев у себя дома. Кроме простого человеческого сострадания, гостеприимцами движет еще одно важное обстоятельство — принадлежность к некоему сообществу, в котором принято селить у себя незнакомых людей, попавших в беду.

Юрий и Карина Ковальчуки находят своих гостеприимцев случайно. Если иметь в виду пять непреложных правил беженца из предыдущей главки, то Юрий и Карина ведут себя не по правилам. Карина, мы помним, отдает всю свою еду незнакомой женщине в Киеве на вокзале. Потом с сыном и неподъемным чемоданом кое-как добирается до Румынии и там — ошибка на ошибке. Надо было зарегистрироваться и получить помощь, но Карина не регистрируется. Надо было поселиться бесплатно, но Карина и Юрий договариваются встретиться в городе Сучава и снять гостиницу, платят там, где можно было бы не платить.

Встречаются, обнимаются, Юрий плачет. Карина, которая всю дорогу только и мечтала, как обмякнет и зарыдает в объятиях мужа, — не роняет ни слезинки.

А дальше опять ошибки. Надо было при помощи психологов и волонтеров в гуманитарном центре тщательно выбрать страну назначения и маршрут, но Юрий и Карина встречают случайных знакомых. Знакомые на своей машине едут в Милан, готовы взять Юрия и Карину с собой, и те соглашаются, совершенно не представляя себе, чем Италия лучше Германии, например, Бельгии или Испании. В Милане Юрий и Карина не находят себе ни дела, ни приюта и в отчаянии звонят зна-

комому врачу в Кельн. А в этот момент у этого самого врача на приеме — немолодая и весьма обеспеченная пара, Лутц и Галина. Живут одни, дети выросли и разъехались, и — да! да! — готовы, даже очень хотят принять семью беженцев в своей весьма просторной квартире.

Это было бы чудом, счастливым совпадением, надо же, как повезло… Но если Юрий и Карина случайно находят своих гостеприимцев, то Лутц и Галина становятся гостеприимцами не случайно. Не то чтобы они сильно верующие люди, но в районе, где они живут, есть довольно знаменитый пастор. Этот пастор помогал беженцам и во времена Югославской войны, и во времена Сирийской. Благодаря пастору там у них принято между соседями помогать беженцам. И вот почему я говорю, что люди становятся гостеприимцами, как правило, благодаря принадлежности к некоему сообществу.

Самые обширные сообщества — интернетные: Фейсбук, Телеграм… Декан экономического факультета Московского университета Александр Аузан говорит даже, что социальные сети впервые участвуют в этой войне наравне с государствами. Британия защищает интересы британских граждан, Германия заботится о гражданах Германии, а Фейсбук — не как коммерческая структура, а как сообщество людей — защищает граждан Фейсбука.

Когда Рита Винокур, одна из основательниц сообщества «Рубикус», дежурит впервые и впервые сама распределяет беженцев по гостеприимцам, ей в чат приходит сообщение: «Здравствуйте, мы семья пять человек, едем на поезде из Кракова в Берлин, будем в Берлине в 12 ночи, что нам делать?» По европейскому времени восемь вечера. У Риты в Пенсильвании полдень, слава богу. Немножко времени есть, но Рита неопытная, не понимает еще, что беженцев на вокзале наверняка встретят волонтеры и не дадут пропасть. Поэтому стремглав ищет квартиру, где можно было бы поселить вот буквально четыре часа спустя пять человек.

У Риты есть чат «Рубикуса», у Риты есть аккаунты в социальных сетях: «Братцы, кто знает, куда поселить в Германии пять человек срочно?» В ответ слова поддержки — неконструктивно. Заявления типа «невозможно найти квартиру для пяти

человек за четыре часа» — неконструктивно. И наконец вот — есть квартира в Мюнхене, готовы поселить, ура!

Рита принимается срочно искать водителя, который имел бы достаточно большую машину, чтобы в нее поместилось пять человек с багажом, и готов был бы в полночь встретить беженцев на вокзале в Берлине и сразу везти в Мюнхен через всю страну. В чате слова поддержки — неконструктивно. В социальных сетях комментарии про то, что таких водителей не бывает, и наконец вот — есть водитель с минивэном, который готов в полночь стартовать из Берлина с семьей беженцев хоть на Марс.

Тем временем Рита переписывается с незадачливыми путешественниками и узнает, что ни один из пятерых членов семьи не говорит ни на каком языке, кроме русского и немного украинского. Это плохо, водитель говорит по-немецки и немного по-английски. Общаться будут знаками. Еще Рита узнает, что на телефоне у семьи кончаются деньги и они не понимают, как в Германии пополнить счет. Еще…

И вот тут удар. Звонит этот гостеприимец из Мюнхена, извиняется и говорит, что не может никого больше пустить в свою квартиру. Он просто очень добрый человек, но очень рассеянный. Он пускает всех, кто просится, но совершенно забыл, что давно уже обещал пустить другую семью, и вот же прямо сейчас эта семья вваливается в его дом с детьми, чемоданами и шиншиллой.

И все начинается снова. Снова чат «Рубикуса», снова социальные сети, снова неконструктивные комментарии о том, что нельзя найти квартиру для пятерых за оставшиеся два часа, и наконец вот — кто-то в чате вспоминает про Женщину-с-Лебедями. Эта женщина живет где-то далеко в деревне. Несколько раз обращалась в разные волонтерские сообщества в интернете и предлагала для беженцев свой просторный дом. Женщиной-с-Лебедями волонтеры прозвали эту гостеприимицу потому, что к своим предложениям принять беженцев она прикладывала фотографии спален. Спальни эти были в идеальном немецком порядке: разглаженные пуховые перины, аккуратно заправленные покрывала и на каждой кровати — альпийской белизны полотенце, сложенное в виде лебедя.

В результате все складывается хорошо. Водитель встречает эту семью из пяти человек в Берлине. Женщина-с-Лебедями ждет их до пяти утра и готовит горячий завтрак. Принимает там у себя в предгорьях Альп как родных. А Рита Винокур в Пенсильвании удовлетворенно заканчивает дежурство.

Я только хочу обратить внимание на одно немаловажное обстоятельство. Эта почтенная фрау, живущая где-то на хуторе, свое объявление о готовности принять беженцев разместила не на пустынной горной дороге, не в местной газете и не на сайте объявлений о сдаче жилья, а в социальных сетях. И не знающая никаких иностранных языков украинская семья из пяти человек пусть и поздно, но догадалась все-таки обратиться за помощью в волонтерскую сеть «Рубикус». И отсюда вывод: чтобы беженцы и гостеприимцы нашли друг друга, нужно сообщество. Иными словами, если вы пользователь социальных сетей, вы найдете жилье и работу, будучи беженцем. Если вы ими не пользуетесь, а только смотрите телевизор — будете жить в хостеле или в бывшем торговом зале, получать маленькое пособие, питаться гуманитарной едой и ждать, пока кончится нескончаемая война и можно будет вернуться в разрушенный дом.

Чужие законы

Первые дни с тех пор, как в квартире поселяются беженцы Карина и Юрий, Галина их кормит. Готовит двойной объем еды, как будто в квартиру вернулись давно разъехавшиеся дети. Это непривычно. Еще непривычнее готовить и есть вегетарианские блюда, но не будешь же стряпать для двух семей разные обеды. Первое время это даже занимательно, но к концу недели Галина заметно устает, а Карина все никак не может прийти в себя и заняться помощью по хозяйству. А Юрия почти никогда нет дома, он в соответствии с непреложными правилами беженца бегает по инстанциям, оформляет документы, открывает банковские счета, добивается пособий. Это правильно, но по хозяйству не помогает и он. А маленький сын Карины и Юрия ходит за Галиной следом и просит спуститься с ним в кладовку, где — сама же Галина ему и сказала — свалены игрушки, оставшиеся от Галининых детей. Это очень трогательно, но мальчик

отвлекает Галину от работы, а Галина уже отвыкла от того, что в доме есть малыш, всерьез полагающий, будто самым насущным делом в данный момент является строительство башни из лего.

К тому же Юрий и Карина жаворонки, а Галина и Лутц — совы. Галина готовит ужин тогда, когда у Карины и Юрия уже слипаются глаза, а сын их спит. И наоборот, мальчик требует завтрака ранним утром, всего через пару часов после того, как Галина и Лутц легли спать.

Хорошо, что квартира довольно большая и двум семьям с разными привычками удается не беспокоить друг друга. Хорошо, что в социальном смысле семьи похожи: украинцы занимаются музыкой, немцы — литературой. Хорошо, что, прожив у Галины и Лутца две недели, Карина все же осваивается и берет на себя хозяйственные заботы по крайней мере о собственной семье. Хорошо, что Юрий получает пособие и начинает принимать участие в расходах. Хорошо, что семьи симпатизируют друг другу и как-то притираются в бытовом смысле. Другим семьям гостеприимцев и беженцев это удается не всегда.

Когда Юрий и Карина немного обживаются, пастор приглашает их с Лутцем и Галиной в церковь — специальная служба, чтобы община могла приветствовать и собрать благотворительную помощь для украинских гостей. Юрий поет в церкви итальянские арии и украинские песни. Пастор читает проповедь. Это необычная проповедь, пастор читает ее, стоя с Юрием рядом. Пастор благодарит Бога — за то, что спас Карину и малыша из-под бомбежек, за то, что привел эвакуационные поезда и автобусы в Румынию, за то, что помог семье Ковальчуков собраться вместе и найти себе таких чудесных гостеприимцев, как Карина и Лутц. И Юрий на своем слабеньком немецком вторит: благодарит Бога за спасение, за эвакуационные поезда, за воссоединение семьи, за Галину и Лутца в Кельне. А Галина и Лутц сидят на четвертом ряду скамеек и хихикают. О Боге Юрий им уже рассказывал за вегетарианскими ужинами, пытался обратить их в свою веру, вот они и хихикают.

— Аминь! — говорит пастор.

— Харе Кришна, — вторит Юрий негромко, но уверенно.

И тут уж Лутц не может сдержать тихого смеха.

После службы к Лутцу подходят прихожане, почти незнакомые с ним, потому что Лутц в Бога не верит и в церковь не ходит почти никогда, разве что по особым случаям. Состоятельные люди, люди, живущие в больших домах и квартирах, подходят спросить, как это Лутц добыл себе беженцев. Они бы тоже хотели пустить беженцев к себе в дома, писали в государственные службы, предлагали свое гостеприимство, но от государственных служб нет ответа. Германия исправно платит беженцам деньги, но организовывать своих граждан в помощь беженцам Германия не умеет. Про «Рубикус» и другие волонтерские организации кельнские прихожане не слышали никогда. Заполнили бы заявку на сайте и получили бы беженцев хоть сто человек.

После службы Галина не сразу идет домой, а заходит по делам в банк. В банке — очередь. Беженка из Украины (у нее еще и ребенок с синдромом Дауна, все время отвлекает от попыток объясниться знаками) никак не может растолковать клерку свои проблемы и никак не может понять решений, которые предлагает клерк. Галина становится переводчицей, беженка благодарит. Галина злится на государство, которое дает деньги, но не думает, каково это — оформить без знания языка необходимые документы. Про «Рубикус» ни Галина, ни беженка, ни клерк не знают ничего. Заполнили бы заявку, «Рубикус» нашел бы волонтера, который пошел бы с беженкой в банк, и другого волонтера, которые поиграл бы с больным ребенком.

С «Рубикусом» всем было бы легче, однако и волонтеры группы «Рубикус» получают довольно много жалоб как от беженцев, которых вели от самого фронта, так и от гостеприимцев, альтруизмом которых так восхищались. Жалобы бывают существенные, так что приходится беженцев переселять, а бывают комические, основанные на непонимании культурных различий.

Один из немецких гостеприимцев, например, всерьез жалуется, что женщина, которая у него поселилась, регулярно унижает и бьет своего семилетнего ребенка. Немец не понимает языка, но видит, что всякий раз, когда мальчик собирается на прогулку, садится на пол и неловко завязывает шнурки, мать кричит на него, а стоит малышу подойти к двери, бьет его по

голове. Хозяин пытался предупреждать свою гостью о недопустимости подобного поведения, но та не понимает по-немецки. Обращался даже в полицию, приехали полицейские, пытались провести профилактическую беседу, но женщина только крутит головой и повторяет «нихт ферштейн».

Сама беженка, в свою очередь, утверждает, что ребенка горячо любит, холит и лелеет, везла двенадцать дней от Харькова и тряслась над ним, как орлица над орленком. (В этот момент волонтер «Рубикуса» воображает себе трясущуюся орлицу и не может сдержать улыбки.) Что же касается крика, то любящая мать сроду на своего сыночка-кровинушку не кричала, а просто она так разговаривает. А подзатыльник в дверях — чисто символический и очень помогает от сглаза. А хозяину своему женщина, конечно, благодарна, но на самом деле он зануда и кляузник. Приходится волонтеру «Рубикуса» сначала объяснять немцу магический смысл украинских подзатыльников, а потом объяснять украинке, что вообще-то в Европе не принято повышать голос и поднимать руку на детей. Кое-как конфликт улаживается.

Но на следующий день приходит жалоба от фермера из Баварии. Он поселил у себя три семьи беженцев и предложил им, чтобы не сидеть без дела, оказывать кое-какую помощь по хозяйству. Нет, если бы они нашли работу, фермер, конечно, не занимал бы их своей картошкой и цыплятами, но они сидят целыми днями на лавке у дверей и смотрят в мобильные телефоны. Предложил заняться делом, и что ж вы думаете? Беженки не просто отказались, а нажаловались в правозащитные феминистские организации, что их, дескать, тут эксплуатируют и держат в рабстве.

А на другой ферме, наоборот, владелица принесла своей гостье свежего молока от своих коров для ребенка, так женщина в ответ потребовала безлактозного молока. Простите, но мои коровы не дают безлактозное молоко. А еще через день приходит жалоба от беженца, который получил пособие и хозяин предложил ему участвовать в платежах за свет и воду, — как, это же мои деньги! А на третий день жалоба от беженца, у которого хозяин поинтересовался, как долго тот собирается

гостить и ищет ли работу и жилье. Вот сволочь, сначала позвал, а потом гонит.

По части серьезных жалоб лидирует Испания. Там многие альберги, то есть гостиницы, превращенные в центры размещения, не выпускают беженцев, держат взаперти и кормят только рисом и фасолью, которые поставляет Красный Крест. А если кто-то хочет отправиться в город искать работу, то грозят не пустить обратно на ночлег и выкинуть на улицу вещи.

Ну, и разумеется, не обошлось без мошенничества и преступлений сексуального характера. Лично мне известно два случая, когда красивых женщин приглашали жить в комфортабельный дом, но дом этот оказывался домом терпимости.

Не надо только думать, будто ссоры, скандалы и преступления происходят с беженцами сплошь и рядом. Не знаю, как я бы себя повел, если бы жила у меня в доме совершенно незнакомая семья. Подавляющее большинство беженцев и гостеприимцев, конечно же, приличные люди. Но когда на небольшую Европу накатывает многомиллионная человеческая волна, надо понимать, что просто по закону больших чисел скандалы и преступления будут.

Раздать свободу

Тем не менее тотальное недоверие к беженцам — это последнее, что мы можем себе позволить. В румынском приграничном городке Сирет, прямо возле контрольно-пропускного пункта, за которым украинская граница, стоит молодая женщина и — раздает беженцам наличные деньги.

— Постойте, — останавливает она старуху или женщину с ребенком. — Возьмите деньги.

— Я? Мне не надо, — первым делом люди обычно отказываются.

— Нет-нет, возьмите, вы ничего за них не должны. Ничего не надо подписывать. Просто мы хотим вам помочь. Возьмите, потратьте на что угодно. И идите, там дальше палатки волонтеров, в них тепло, еда и одежда…

Сирет в горах. В горах зимой очень холодно. Женщину зовут Наташа Дукач. Она скрипачка из Харькова, но давно живет в Америке. Ее муж Семен Дукач — эмигрант из Советско-

го Союза, успешный предприниматель, инвестирует в смелые IT-проекты. Их приятель Алекс Фурман — тоже советский эмигрант и успешный бизнесмен, владеет генетическими лабораториями в Калифорнии. Его жена Марина… Одним словом, эти четверо основали благотворительную организацию Cash for Refugees. Вернее, не сразу основали организацию, а поначалу просто поехали на украинскую границу раздавать беженцам свои деньги.

— Постойте. Возьмите…

— Я? Мне не надо.

Алекс рассказывает, что приехал в Румынию с двадцатью тысячами долларов собственных денег, а пока раздавал их беженцам примерно по сотне долларов на человека в евро или румынских леях, друзья и знакомые накидали ему на счет еще тысяч двести. Так и пошло. Раздавать получалось медленнее, чем приходили благотворительные пожертвования. Вернувшись в Америку через неделю, Алекс организацию таки зарегистрировал, к этому моменту на счету было уже полтора миллиона. Подключались большие спонсоры, даже голливудские звезды.

— Что мы будем делать, когда придет налоговая и потребует отчитаться за деньги? — спрашивал Алекс Семена.

— Ну, либо они поверят, что мы раздали все эти деньги беженцам, либо заплатим налоги из своих, — отвечал Семен. — Мы же справимся?

Раздавать деньги беженцам самостоятельно уже не получалось. Наняли волонтеров. Волонтеры каждое утро получали у Наташи, Алекса или Марины толстую пачку денег, целый день раздавали, пытаясь выбирать из толпы стариков, больных и женщин с младенцами, а к вечеру приносили отчет, который не приняла бы ни одна налоговая на свете — листок с галочками, каждая галочка — человек, получивший небольшое денежное вспомоществование.

Румынские полицейские, пожарные, военные и священник местной церкви поначалу считали волонтеров Cash for Refugees мошенниками, но потом поняли, что они просто сумасшедшие, и стали им помогать — разрешили стоять у самого пропускного пункта, познакомили с местными властями.

Когда поток беженцев через Сирет немного спал и понятно стало, что большинство беженцев не пересекают границу, а остаются жить в Черновцах, размещаясь в церквях и спортивных залах, — поехали в Черновцы. Устроили офис, завели базу данных, стали раздавать безналичные деньги, то есть переводить людям на карточки примерно по сто долларов. Посчитали, что обеспечение единовременным пособием двухсот тысяч беженцев в Черновцах обойдется в $15 миллионов — и это реальная сумма, ее действительно можно собрать. Алекс думал, что Cash for Refugees просуществует несколько недель, пока не подключатся большие международные организации. Но, похоже, деятельность случайно основанной благотворительной организации не так-то просто остановить даже ее основателю. Жертвователи требуют продолжения. Людям нравится, когда беженцам раздают не одеяла и не горячий суп, а деньги.

— Потому что, — говорит Алекс, — мы раздаем им немножко свободы. Да, их кормят, их одевают, но до 24 февраля они могли не только есть и одеваться, они могли еще выбирать, купить ли им зарядку для мобильного телефона или ракетки, чтобы играть в бадминтон. Они были свободными, как я. Теперь вместе с деньгами мы раздаем им немножко свободы, и это трудно остановить. Если начнется голод в Африке, мы поедем туда и тоже будем раздавать деньги, то есть свободу, а не только хлеб.

Предел альтруизма

Возможно, Алекс ошибается. Честно говоря, самоотверженным нельзя быть долго. На седьмой день своей волонтерской работы в Медыке Вика Лагодинская встречает в гуманитарном центре ту самую женщину, которая накануне не могла выпустить руку дочери, даже чтобы пойти в туалет. Теперь мама и дочка просто шагают рядом, никто никого не держит. Женщина узнает Вику, обнимает, и в этот момент Вика вдруг чувствует, что смертельно устала, что просто не может больше заниматься беженцами, переводить их документы, слушать их трагические истории и даже радоваться их маленьким радостям. Слава богу, завтра Вику сменят. Очень правы оказались израильские психологи,

когда завели порядок приглашать волонтеров не больше чем на неделю — за неделю волонтер выгорает.

Евгений Пинелис работает в Пшемысле десять дней. Он совершенно счастлив, чувствует себя очень на своем месте и — вот же признак психологического равновесия — даже не листает новости и не слушает каждый вечер брифингов советника украинского президента Алексея Арестовича. Но на десятый день у Евгения как будто гаснет внутри лампочка. Подходит к концу потраченный на волонтерство отпуск, и Евгений с радостью уезжает домой в Нью-Йорк работать врачом-реаниматологом — это, оказывается, легче, чем выполнять в лагере беженцев фельдшерскую работу.

А Ольга Соколова спит. Уже двадцать три часа подряд, почти сутки. У Ольги в Москве успешный виноторговый бизнес. Ольга модная, умная, современная, очень любит путешествовать, но стыдно как-то путешествовать по Европе, в то время как на востоке ее люди путешествуют на танках или эвакуационных поездах.

Ольга говорит, что характер у нее кошачий, ей нужна свобода передвижения. Она говорит: «Я, может быть, никуда и не уйду, но дверь должна быть открыта». Со времен эпидемии ковида Ольга завела себе «тревожный чемоданчик»: банковская карта, выпущенная на Мальте (очень пригодилась после 24 февраля), два заграничных паспорта, наличные доллары и евро, три сертификата о прививках Pfizer — вот что по нынешним временам делает человека свободным.

Ольга с начала войны смотрит новости и испытывает странное чувство: происходят судьбоносные события, а она в этих событиях не участвует. А надо. Надо самой, своими глазами увидеть этих людей, которым мы разрушили города и жизни. Надо понять, насколько они нас ненавидят. С такими мыслями Ольга ищет авиабилеты, чтобы полететь в Берлин и поработать недельку на Центральном вокзале волонтером и переводчиком для беженцев — так теперь успешные бизнесмены проводят отпуск.

Прямых рейсов нет. Лететь через Стамбул стоит тысячу евро, через Абу-Даби три тысячи, поэтому Ольга летит в Минск, автобусом добирается до Вильнюса, из Вильнюса летит в Бер-

лин. В каждом городе ее встречают друзья — я же говорил, в условиях войны, чтобы жить более или менее нормальной жизнью и иметь возможность кому-нибудь помочь, надо самому непрестанно получать помощь от людей, с которыми дружишь виртуально в социальных сетях.

На Центральном вокзале в Берлине Ольга проходит инструктаж, то есть выслушивает, где и какие возможности есть для беженцев, надевает форменный волонтерский жилет с желтым погоном (знак владения русским языком) и еще наклеивает на грудь стикер, сообщающий, что носитель сего владеет русским и английским.

В таком виде Ольга просто разгуливает по вокзалу. Время от времени к ней обращаются другие волонтеры и просят что-то перевести. Иногда она видит стайку подростков и подходит к ним сама (так инструктировали), расспрашивает, где их родители, просит позвонить маме, убеждается, что дети не сбежали и не потерялись. С этими подростками Ольга говорит в частности и о войне. Больше всего подростки боятся, как бы президент Украины Зеленский не остановил войну до победы, не заключил бы мир в обмен на территории. Нет, говорят подростки, войну нужно довести до конца, освободить всю украинскую землю, включая Донбасс и Крым. А русских при этом подростки не ненавидят. Ну, вот Ольга же русская и не скрывает, что русская из Москвы. Ну и что, говорят подростки, русские разные, мы ненавидим тех, кто на нас напал.

Или вот пришел поезд, и, когда толпа пассажиров схлынула, на перроне остались сидеть на чемоданах двое неприкаянных стариков.

— Здравствуйте, вы беженцы? — подходит к ним Ольга.

— Да.

— А вы чего тут сидите?

— А мы не знаем, куда идти.

Ольга подхватывает их чемоданы, тащит к эскалатору, достает старикам билеты в Дюссельдорф, куда они, оказывается, едут к дочери, объясняет, что лучше ехать на утреннем прямом поезде, чем сейчас на поезде с двумя пересадками — в итоге быстрее приедете, — и устраивает на ночлег.

— Вы русские тут в Германии такие добрые, — говорят старики. — Чего ж в Москве-то такие злые?

— Я русская из Москвы, — не скрывает Ольга.

— За что же вы нас так? — причитает старушка.

И женщины обнимаются.

Такие волонтерские прогулки по вокзалу Ольга выдерживает три дня. Через три дня уходит от друзей, у которых гостит в Берлине, снимает номер в гостинице, ложится и спит — целые сутки напролет. Способность человека к активному альтруизму и состраданию — ограничена.

DOI: 10.55167/ececc503bce5

Университетская жизнь

Хроники Свободного университета
Часть 4. Лето-осень 2021

Елена Лукьянова

Мы это пишем, чтобы ничего не забыть…

К сентябрю 2021 года мы чувствовали себя уже вполне состоявшимся университетом. Нас было более 100 преподавателей, структура, самоуправление, первые гранты и студенты, оформившиеся в самостоятельное активное сообщество. Летом мы не ушли в отпуска, как это бывает в обычных вузах, а продолжали строить. Мы поняли, что нам позарез нужна своя собственная научная площадка для публикаций (журнал-издательство). Тогда мы создали издательскую группу. Итак, журнал и издательство. Первая рукопись уже лежала в издательском портфеле, журнальный тоже начал потихоньку наполняться. Наиболее активные университетские юристы решили сделать тематический номер о свободе. Собирателем номера стала профессор Екатерина Мишина.

Переписка в чате издательской группы достойна особого интеллектуального анализа, ибо прекрасна, но это когда-нибудь потом. Здесь будут лишь короткие выдержки. Вот, например. Екатерина Мишина: «Вечер в пресс-хату! На данный момент я завершаю первичное редактирование третьей из четырех имеющихся в портфеле работ. Три работы слушателей, закончивших либо заканчивающих курс, один слушатель курс не закончил. Три работы на русском, одна на английском. В понедельник буду готова направить тексты на рецензирование. В связи с этим есть вопрос, который мы пока детально не обсудили: как мы будем организовывать слепое рецензирование студенческих работ»? То есть мы решили включать не только статьи состоявшихся ученых, но и лучшие работы наших уче-

ников. У нас еще не было названия журнала, не были наработаны процедуры, но мы уже собирали номер.

Как назвать журнал? Чтобы было нестандарно, невычурно, но так, чтобы запомнилось, стало бы лицом свободной науки? Предложений было много: Вестник Свободного университета, Тетради Свободного Университета, Свободные тетради, Труды Свободного Университета, Труды и дни Свободного Университета, Свободное место, Альманах Свободного Университета, Хроники Свободного Университета… Мы голосовали-голосовали, но ничего не выголосовали. Все казалось избитым и пресным. Расстроились, но не пали духом. И не зря не пали. Вскоре в чате группы появилась запись: «Дорогие коллеги, мы с Катей (Гасан Гусейнов и Екатерина Марголис) должны были давно предложить что-то „античное" в качестве названия.

Отвергли имена и остановились на слове-предмете, которое всем вам и предлагаем в качестве названия на трех языках — греческом, иностранном (лат., нем., англ. — все одна форма), и русском. Предмет этот — фигура Афины, которую Зевс дал троянцам. Пока она на месте, город стоит (вариант: тот, в чьих руках эта фигура, и владеет городом). Дальше есть варианты: по одному, греки украли эту штуку у троянцев, и город пал. По другому варианту Эней утащил его с собой в Италию, и с тех пор город Рим стоит на месте как «другая Троя», ну а Москва — четвертая Троя и Третий Рим в хорошем смысле слова.

Называется эта штука Παλλάδιον, Palladium, Палладий. Отрисовывать на обложке можно сколь угодно вольно».

Название всем понравилось. Так появился регулярный университетский журнал Palladium, получивший ISSN, возможность приваивать DOI и зарегистрированный в Латвийской государственной библиотеке. Мы утвердили стиль и размер, а обложку взялась сделать художнца Марина Садомская. Теперь дело оставалось за материалами. К этому времени у нас появились свои редакторы, корректоры и верстальщики. Владимир Харитонов организовывал онлайн-доступ и электронную площадку для наших публикаций. Готовилась к выходу первая книга «Конституционные риски-2» Елены Лукьяновой, в замысле созрела еще одна коллективная монография о выборах.

Наши прекрасные филологи провели летнюю школу.

Гасан Гусейнов:

Мы мечтаем о настоящей летней (осенней, зимней, всесезонной) школе, но во время пандемии, которая тогда казалась худшим из зол, смогли провести только школу виртуальную. Встретились студенты и преподаватели трех курсов — мифологии, риторики и культурной урбанистики. Эти курсы вели Катя Марголис, Ася Штейн и я. Несмотря на клетку-сетку ЗУМа, наши студенты перезнакомились, увидели лица обитателей Стамбула и Берлина, Праги и Москвы, Иерусалима и Венеции, послушали их доклады, иногда с неожиданной стороны позволявшие взглянуть на то, чем занимались в последние месяцы они сами, и начали мечтать о первых постковидных встречах. К сожалению, моя собственная организаторская бездарность не позволила довести до конца итоговую книгу, уже почти построенную. А вот гениальная Катя Марголис такую книгу по итогам работы своего курса создала, и она вышла в нашем университетском журнале «Палладиум». Но этот итог первой нашей летней школы не последний.

То есть филологи обогнали юристов, и первый номер Палладия стал студенческим альманахом «Город как текст»[1].

Ася Штейн:

Когда Гасан Гусейнов пригласил меня принять участие в работе вновь открывающегося Свободного Университета, я была крайне смущена. Ведь, закончив классическое отделение филфака МГУ, я довольно быстро ушла работать в только что открывшуюся в школу, которая в ту пору называлась Донская гимназия, а теперь называется школа имени Вернадского. Пошла — потому что искренне считала и продолжаю считать, что учить подростков мифологии и античной литературе — это невероятно интересное и захватывающее занятие.
Не буду лукавить, я отличный учитель. Но студенты?.. Взрослые люди? Они же наверняка знают больше меня! Да я на первой же лекции опозорюсь! Как с ними говорить? Как держать себя? Но Гасан сказал, что я справлюсь. А кто я такая, чтобы спорить с Гасаном, своим учителем, благодаря которо-

1. DOI: https://doi.org/10.21428/52333846.b4dbd085.

му я полюбила мифологию, которой занимаюсь всю жизнь! Но все оказалось совсем не страшно.
С самого начала я решила, что я не читаю лекций: на вершине академического Олимпа неуютно и одиноко. А тогда что это? Семинары? Пожалуй... Вместе со своими студентами я создаю пространство, где можно свободно говорить о мифе, анализировать и интерпретировать мифологические тексты. Я всего лишь направляю, даю в руки инструменты для анализа, предлагаю возможные варианты нашей совместной работы. Наш семинар может внезапно отклониться от моего прекрасно продуманного плана и пойти совершенно неожиданным путем. И это отлично, потому что настоящий научный семинар — это не заранее распланированный и расписанный по минутам «урок», где студентам отведена роль исполнителей, а результат совместного творчества студентов и преподавателя.
Я стараюсь собирать в группе самых разных людей. У меня в семинаре занимаются историки, филологи и антропологи, художники и молекулярные генетики, режиссеры и психологи. Чем больше людей с разным образованием и опытом, тем интереснее идет работа. Я бесконечно благодарна своим замечательным студентам за доверие, за гениальные идеи и за тот бесценный дух научного творчества, который царит на наших семинарах. Высшей наградой для меня стали студенты, которые пришли на второй, а теперь — и на третий мой курс. С ними мы давно говорим на одном языке и понимаем друг друга с полуслова. Они задают особую атмосферу, в которую с радостью вписываются новички.
И, конечно же, отдельным счастьем была трехдневная летняя школа, которую мы провели совместно с Гасаном Гусейновым и Катей Марголис в июле 2021 года. Блестящие студенческие доклады, бурные дискуссии, вдохновенная трехдневная работа. Стало ясно, что мы, совершенно разные преподаватели, читая абсолютно разные курсы, не сговариваясь, двигались, хоть и разными путями, но в одном направлении. А нашим студентам было невероятно важно увидеть своих единомышленников.

Но и этого нам показалось мало. Именно тем летом *мы придумали медиашколу*. Как придумали? Просто она мне приснилась. Когда строишь что-то новое и интересное, мозг не от-

ключается даже ночью. И вот я — жена журналиста, эксперт, выступающий в самых разных СМИ, и даже лауреат премии «Профессия — журналист» в жанре публицистики — проснулась в панике с четким пониманием, что университету катастрофически не хватает журналистики. Я вскочила и побежала звонить в Берлин Ольге Романовой. Она подхватила идею и написала концепцию.

> Традиционная система журналистского образования в России, как и более прикладные, «индустриальные» факультеты медиакоммуникаций, фактически нацелены сейчас на производство солдат пропаганды, обладающих навыками производства и распространения идеологически заряженных или в лучшем случае нейтральных символических форм — от новостей до анимации, от мультимедийной статьи до достроенной реальности second life. Умение нажимать правильные мультимедийные кнопки фактически отменило необходимость читать, думать и иметь совесть.
> Несмотря на гонения, а зачастую и репрессии, качественная российская журналистика продолжает существовать и развиваться в самых разных формах и жанрах, на традиционных, на новых и экспериментальных платформах, в столицах и в регионах: об этом свидетельствует, например, серьёзная конкуренция и большой объём профессиональных и актуальных журналистских работ, ежегодно выдвигаемых на такие известные премии, как «Профессия — журналист» или премия «Редколлегия».
> Российские журналисты, сохранившие гражданскую позицию, востребованы как внутри страны, так и в русскоязычных редакциях, работающих из-за рубежа. Расцвет расследовательского жанра, жанра актуального интервью, аналитики и колумнистики, документального кино, подкастов, видеоблогинга и репортажа, в том числе «с колес», непрофессионального, «видео очевидцев» показывает потребность общества в достоверной информации. При этом очевидно, что приток в журналистскую профессию «свежей крови» ограничен и страхом попасть в категорию так или иначе преследуемых граждан, так и пропагандистской заряженностью существующего в стране образования в сфере медиакоммуникаций.

Факультет журналистики и коммуникаций Свободного университета призван восполнить этот пробел.
В Свободном университете есть несколько факультетов, связанных либо с культурными индустриями, либо с коммуникационными науками — социология, менеджмент, политология, филология, философия. И, конечно же, право, что особенно актуально сейчас для России, стремительно выходящей из правового пространства. На стыке всех этих дисциплин и с привлечением соответствующих специалистов мы рассчитываем создать свою междисциплинарную программу обучения слушателей журналистике и медиа-коммуникациям. Программу, преодолевающую разрыв между наукой, образованием и практикой в медиасфере.

Заметьте, здесь медиашкола еще не называется медиашколой. Это пока еще пафосный «Факультет журналистики и коммуникаций». Но нам не нужны пафос и лишние слова. Медиашкола звучит круче, потому что скромнее! На этом этапе к проекту подключилась Кюлле Писпанен, и мы начали верстать набросок программы. Чуть позже на стадии корректировки и уточнения программы включился Кирилл Мартынов, который, как он вспоминает, не сразу поверил в идею, но позже оценил ее по достоинству.

Вспоминает *Кюлле Писпанен*:

Позвонила как-то моя подруга Лена Лукьянова и говорит, Кюль, а давай сделаем Медиашколу Свободного Университета!
Мамадарагая, где я и где университет?! У меня даже бумажки о высшем образовании нет, не понравились мне советские журфаки. Только практика в десятках редакций радио и телевидения, запуски стартапов и обучение в поле.
Но Лена меня убеждала что все получится, что нужна именно практика, а не лекции далеких от журналистики «профессоров», никогда не работавших в эфире. Все равно, думаю, вряд ли получится, но попробовать-то стоит. К тому же я на своем опыте незаконченного обучения в трех профильных заведениях знала, как НЕ надо делать.
Начала переговоры с топовыми действующими журналистами, они усложнялись тем, что мы совсем ничего не могли платить за чтение лекций. А это все-таки не баран чихнул! Надо курс подготовить, написать, каждую неделю выделить

время для лекций и для домашних работ, плюс, у нас преподаватели постоянно на связи со студентами в телеграм-чатах, немало времени отнимает у самых загруженных журналистов. Из всех 45 человек, с которыми я договаривалась, только один отказался из-за отсутствия гонорара! Сказать, что я была в шоке — ничего не сказать. Дальше набор. И новый шок!

В начале сентября мы с Олегом Трояновским представили Университет на специальной секции экономического форум в польском Карпаче. В это же время был объявлен набор на 45 курсов.

Вот они.

1. Love & Poetics in Shakespeare's Sonnets — Alexander Zimbulov
2. Город как текст — Екатерина Марголис
3. Язык и власть: основы политического дискурса — Юлия Галямина
4. История советской поэзии — Дмитрий Быков
5. Транскультурные исследования — Роман Цирулев
6. Тамиздат: контрабандная русская литература — Яков Клоц
7. Художественный текст как источник политическо-правового знания — Илья Шаблинский
8. Мифология Древнего Ближнего Востока — Ася Штейн
9. Национальный театр в XX веке. Еврейский театр в России (Габима и ГОСЕТ) — Елена Тартаковская, Василий Щедрин
10. Введение в раннее русское кино — Анна Ковалова
11. От телевидения к YouTube, от программы к блогу. Имеет ли журналист право на свой особый взгляд? — Владимир Мукусев
12. Основы логики и аргументации — Виктор и Юлия Горбатовы
13. Философия журналистики — попытка осмысления профессии — Леонид Никитинский
14. Раннее христианство: идеи и реконструкции — Андрей Десницкий

15. Основные понятия стоической этики — Станислав Наранович
16. Людвиг Витгенштейн: логика, философия, этика, религия — Софья Данько
17. Метафизические основания науки Нового Времени — Руслан Лошаков
18. Философия искусства — Андрей Великанов
19. Современные учения об идеологии — Михаил Минаков
20. Исследовательский семинар по антропологии активизма и политического участия — Армен Арамян, Даниил Файнберг
21. Структурная химия молекул — Денис Тихонов
22. Поведение животных с точки зрения эволюционной теории — Анна Цимбулова
23. Линейная алгебра — Андроник Арутюнов
24. Комбинаторика — Спивак Александр Васильевич
25. The Foundation of Modern Democracy in the «Federalist Papers» — Julian Obenauer
26. Правовой анализ ситуаций нарушения прав человека на основе подходов ЕСПЧ — Мария Воскобитова
27. Вертикальная компаративистика — Екатерина Мишина
28. Становление советского права (1917–1948) — Анна Лукина
29. Российское пространство и российское государство — Сергей Медведев
30. Социология природы и города: история идей — Петр Иванов
31. Основы конституционного права — Елена Лукьянова
32. Основы медиабезопасности — Мария Орджоникидзе, Шахида Тулаганова, Свитлана Валько, Михаил Синица, Кетеван Мгебришвили, Алексей Шляпужников
33. Как и зачем проводить социологические исследования? — Любовь Борусяк
34. Интернет и конституционные права — Андрей Щербович
35. Политическая экспертиза — Михаил Савва
36. Информационное право — Илья Шаблинский
37. Основы права Европейского Союза — Елизавета Сапончик

38. Good Governance LEGO: механизмы и инструменты обеспечения прозрачности, подотчётности общественного сектора и реализации антикоррупционной политики — Елена Панфилова
39. Качественные методы исследования в социальных и гуманитарных науках — Наталия Ильина
40. Как написать хорошую курсовую, магистерскую и кандидатскую гуманитарную диссертации — Елена Лукьянова
41. Академические права: как сохранить науку и образование свободными — Дмитрий Дубровский
42. «Партия трагической судьбы»: история, идеи, демократическая альтернатива и люди партии социалистов-революционеров — Константин Морозов
43. «Неленинский большевизм» А. А. Богданова: идеи и практика — Алла Морозова
44. 1914: Всечеловечество. Первая мировая и Европа — Петр Сафронов
45. История российской мемориальной культуры — Владислав Стаф

В ноябре мы запустили медиашколу. Вот финальная версия нашей первой, но уже звездной медиапрограммы. Через год она увеличится почти вдвое.

1. **Как устроены новости**
   Владимир Роменский, журналист (ТК «Дождь»)
   Василий Полонский, журналист (ТК «Дождь»)
   Ирина Ромалийская, ведущая (ТК «Настоящее время»)
   Тимур Олевский, редактор (The Insider)
   Тихон Дзядко, главный редактор (ТК «Дождь»)
   Татьяна Фельгенгауэр, журналист («Эхо Москвы»)
2. **Журналист в суде, основы судебной журналистики**
   Вера Челищева, журналист («Новая газета»)
   Елена Лукьянова, юрист
   Анастасия Буракова, юрист
   Алла Фролова, правозащитница
3. **Как работают СМИ**
   Дмитрий Бутрин, заместитель шеф-редактора («Коммерсант-Ъ»)

4. **Основы медиабезопасности**

   Мария Орджоникидзе, директор фонда «Справедливость для журналистов», социолог

5. **Социология массовых коммуникаций**

   Любовь Борусяк, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Лаборатории социокультурных образовательных практик МГПУ

6. **Журналистская этика**

   Ольга Романова, журналист, правозащитница

7. **Описание очевидного, письмо и визуальность**

   Екатерина Марголис, художница и писательница

8. **Введение в культурную политику**

   Гасан Гусейнов, доктор филологических наук

9. **Теория аргументации для журналистов**

   Юлия и Виктор Горбатовы, философы, преподаватели логики

10. **Журналистское расследование**

    Александрина Елагина, журналист, шеф-редактор («Полит.ру»)
    Сергей Канев, журналист (Центр «Досье»)
    Григорий Пасько, директор Содружества журналистов-расследователей

11. **Искусство интервью**

    Ирина Воробьева, журналист («Эхо Москвы», «Новая газета»)
    Катерина Гордеева, журналист, автор YouTube канала «Скажи Гордеевой»
    Кюлле Писпанен, журналист
    Марфа Смирнова, журналист (ТК «Дождь»)

12. **Где текст? Основы работы редактора**

    Сергей Соколов, заместитель главного редактора («Новая газета»)

13. **Как писать и говорить о культуре**

    Юлия Бедерова, музыковед, музыкальный критик
    Ксения Ларина, журналист («Эхо Москвы»)
    Елена Фанайлова, журналист («Радио Свобода»)

14. **Подкасты в экосистеме медиа**

    Петр Рузавин, продюсер и автор подкастов «Медиазоны»

Лола Тагаева, журналист, ведущая подкаста «Она сказала, он сказал»
Надежда Юрова, продюсерка подкастов «Новой газеты»

15. **Монетизация медиа**

Роман Баданин, журналист, создатель проекта «Агентство»
Анфиса Воронина, издатель The Bell и «Русские норм»
Галина Тимченко, издатель «Медузы»
Демьян Кудрявцев, медиаменеджер

16. **Журналистика и активизм, как организовать общественную кампанию**

Ирина Воробьева, журналист, волонтер
Александра Крыленкова, правозащитница, руководитель проекта «Открытое Пространство»

17. **Как работает «Медиазона»**

Сергей Смирнов, главный редактор «Медиазоны»

18. **Введение в журналистику данных**

Арнольд Хачатуров, отдел данных «Новой газеты»

19. **Введение в политическую журналистику**

Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой газеты»

«Что такое и зачем нужна финансовая журналистика»
Публичная лекция финансового журналиста Александра Коляндра

«Сторителлинг по-русски: как работать с героями лонгридов»
Публичная лекция главного редактора «Холода» Таисии Бекбулатовой

«История сатиры и цензуры»
Публичная лекция писателя Виктора Шендеровича

Вспоминает *Кюлле Писпанен*:

Без рекламы и особого продвижения, на Медиашколу поступило больше 400 заявок. Невероятно трудно было отобрать. Все мотивационные письма были такие, что хоть душу режь на кусочки, но чтоб все поступили. К сожалению, онлайн формат обучения не позволяет такое количество слушателей. Пришлось резать по живому. Отобрали 70 студентов. Началось обучение. Каждый день лекции. Иногда и по выходным. Но все ходили. Потом война. Но даже во время бомбежек,

студенты из Украины слушали лекции из бомбоубежищ. Преподаватели, перемещаясь в пространстве, читали лекции на чемоданах. Студенты самоорганизовались и помогали друг другу конспектами. Низкий поклон всем, вселенское уважение!

К этому времени вышла в свет наша первая книга «Конституционные риски-2»[2] и первый номер «Палладия». Второй номер — «Современные угрозы свободе»[3] — был на подходе. В портфель издательства поступила рукопись нашего профессора-социолога Ольги Константиновны Крокинской «Жизненный мир за закрытой дверью. Университет на карантине и в дистанте»[4]. Началась работа над коллективной монографией о выборах[5]. Весь материал был уже собран, и я точно помню, когда начала писать первую главу. Это была середина октября. На все-про все в плане личного графика я отвела четыре месяца, включая «подгонялки» соавторов.

У нас катастрофически мало денег. У нас практически нет никаких рабочих рук, кроме преподавательских. Мы все полуголодные волонтеры. Но мы понимаем, что путь верен. И потому работаем не покладая рук. У нас, наконец, образуется самостоятельная историческая школа во главе с профессором и сотрудником «Мемориала», ведущим популярного в Москве семинара «Историк за верстаком» Константином Морозовым. И мы договариваемся, что в ней пока будет преподаваться только история XX века. Мы потихоньку ротируем Ученый Совет. В него приходят социолог Любовь Борусяк, философ Руслан Лошаков, биолог Юрий Быков. У нас обновляются факультетские лидеры. Координаторами самого большого и именитого по составу социально-политико-правового цеха становятся совсем молодые ребята — Анна Лукина и Артем Никифоров. И у них все получается живее, лучше и строже, нежели у маститых ученых. Мы собираемся очень часто. У нас бывают ссоры и споры. Но большинство из нас (в том числе и Ученый Совет) никогда

2. DOI: https://doi.org/10.21428/52333846.64494fa8.
3. DOI: https://doi.org/10.55167/1dab8751b1a9.
4. DOI: https://doi.org/10.21428/52333846.996a6dd7.
5. DOI: https://doi.org/10.55167/d3d8eaf94584.

не видели друг друга иначе, чем в зуме. Это трудно. И вдруг счастье — наш профессор-адвокат Мария Воскобитова в рамках своего проекта приглашает несколько членов Ученого Совета прилететь в Ереван. И, наконец, хотя бы пятеро могут подержаться за руки! Невероятно, но ереванский вояж стал новым стимулом развития. Мы набросали и проговорили несколько сложных и интересных проектов на будущее. Не все из них смогли реализоваться в том виде, в котором были задуманы, потому что… Потому что кардинально изменился мир и роль России в нем. Но об этом в следующей главе.

Заметки на полях. Мы вводим эту маленькую рубрику как неотъемлемую часть Хроник. Преподаватели о Свободном университете:

С = свобода, Т = туман, У = Университет
Екатерина Марголис

— ууУуууУуу
— УууУуу

Перекликаются, как настраивающийся оркестр вапоретто. Туман в Венеции всегда узнаешь по голосу, по этой перекличке большого оркестра вапоретто, моторок, пароходов. Едва открыв глаза, ты уже на слух знаешь — осень вплывает в город.

Осень 2020. Италия ждет нового указа. Локдаун — не локдаун, уже ставшее привычным новое заимствование звучит то там, то тут — в баре, на улицах, в вапоретто. Новый общий рамочный карантинный указ будет действовать по всей Италии, а остальное уже точечно по местной ситуации. В целом же все кривые продолжают расти — где кривая круче, там круче и меры, где площе — пока тише. Но уже все знают, что меры имеет смысл принимать тогда, когда невооруженным глазом кажется, что все еще в порядке. Потом бывает поздно. Статистика переменчива, как вода, отражающая каждого человека маленького городка вроде нашего. Волны на набережной набегают одна за другой и откатываются назад в туман. Впрочем, будущее туманно повсюду.

Когда привычное закрывается, открывается что-то непривычное, совершенно новое. То, о чем забыл думать. Какое десятилетие каждая осень начинается для меня с сосущего под ложечкой ощущения начала учебного года. И не важно, что я уже давно преподаю сама, но какая-то другая внутренняя Катя тянется снова собрать тетрадки, пересмотреть прошлогодние конспекты… Я всегда равно любила учиться и учить. Начав преподавать английский в начальной школе в 18 лет в классе Татьяны Михайловны Великановой, я уже почти никогда так или иначе не прекращала этого занятия. Но учиться я люблю не меньше.

Мои собственные курсы по изобразительному искусству к этому моменту полностью перешли в онлайн, что не только не тяготило, но напротив, ставило новые задачи и помогло иначе выстроить весь учебный процесс. И идея учиться самой вдруг задышала новой реальностью.

После ковидной остановки всего человечества, когда, казалось бы, каждый не мог не пересмотреть что-то в основании самих себя и своего взаимодействия с миром, когда как никогда (так мне тогда казалось) слово «солидарность» обрело значение не факультативное, а основательное, согласно своей внутренней форме, когда ограничения и особенно самоограничения стали важнее условных государственных границ, когда мир сжался до пределов семьи и дома и оказался емче и огромнее, чем представлялось в калейдоскопе перемещений и событий… когда, когда, когда…

Ничего этого, конечно, не случилось.

То был исключительно попытка интенсивного нового проживания времени, за которым последовал кризис, недоумение, разочарование от того, как мало человечество оказалось способно вынести из этого общего биологически-экзистенциального трагического опыта.

Жизнь вернулась так же беспричинно, как когда-то странно прервалась… Вернулась не ко всем. И не совсем. Но даже те, кто не попали в тысячные списки-некрологи, оказались в новой эпохе. Мы не знали тогда, что ковид был отчасти прелюдией к. Но ощущение новых времен и больших разломов не покидало.

И тем сентябрем я мучительно пыталась понять, куда мне плыть. И листая ленту фейсбука, случайно наткнулась на чей-то пост с манифестом только что созданного Свободного: «Если университет больше не может быть свободным, значит нужен новый свободный университет. (...) Мы будем преподавать из дома, будем преподавать из библиотек, мы будем преподавать на летних школах. Мы не прекратим защищать свободу знания и не оставим наших студентов. Нас нельзя изгнать из университета, потому что университет — это мы».

Иногда закрытие и вправду ведет к открытиям.

Свободный университет родился на пике изгнаний и притеснений.

Так оксюмороны становятся началом нового.

А кризис — залогом будущего.

И тогда из трещин застывшей терракоты прошлого вдруг является что-то совершенно новое и живое, то, что я не планировала, но чего, оказывается, так ждала. И совершенно не сообразуясь ни с возрастом, ни с планами, едва прочтя тот пост-манифест, я прошла по ссылке и не сходя с места, написала мотивационное письмо-заявку на курс Гасана Гусейнова «Классической риторики и техники коммуникации» (ведь я так люблю классику и античность, а училась в основном лингвистике, а этому отрывочно — больше в отрочестве, когда учила латынь, да и современная коммуникация и в ее визуальной и вербальной ипостасях мне не чужды), и зажмурившись нажимаю кнопку «send». Вскоре я читаю, что заявок на выбранный мною курс уже подано 350 и что из них отберут лишь 40, а предпочтение будет оказываться действующим бакалаврам и магистрам — ну что ж, всё честно, молодым везде у нас дорога. А Свободный Университет — сам по себе так молод и прекрасен...

И тут мне приходит письмо: «Вы в группе такой-то, занятия начнутся тогда-то».

И вот уже я пишу эссе и читаю по ночам труды Квинтилиана и Цицерона, я слушаю своих замечательных однокурсников — и не могу надивиться разнообразию оптик, неожиданных углов зрения и поворотов мысли. Разброс наших возрастов от 18 до 45+ — тут и музыковеды, и режиссеры-ани-

маторы, и студенты журфака и филологи, а один из моих одногруппников — не просто годится мне в сыновья, а и в самом деле оказался сыном моего одноклассника из начальной школы. Мы встречаемся еженедельно на занятиях-семинарах. Мы смотрим и слушаем друг друга из своих зум-окошек. И никаким риторическим фигурам не под силу описать, мою благодарность Гасану Гусейнову.

От него же последовало вскоре и предложение подумать, не хочу ли я прочитать какой-то курс. Так родилась программа моего курса-лаборатории «Город как текст». Сейчас у меня уже набран 4-й поток студентов этого курса. Сколько лиц, судеб, текстов, докладов, лекций, зумочасов.

Позади уже столько всего. И совместная Летняя Школа с курсами Аси Штейн и Гасана Гусейнова летом 2021-го, и издание нашего первого альманаха «Город как текст», составленного из эссе студентов первого набора в первом номере «Палладиона» в апреле 2022-го. И курс «Описание очевидного» для медиашколы, и работа над нашим антивоенным сборником, который мы вскоре надеемся представить.

Зум не помеха, а окно в будущее. Экран не защищает от передачи знаний, от поисков смысла, от вдохновения.

Казалось, что вот-вот кончится проклятая пандемия, а политическая жизнь все-таки не успеет испортиться. Вернее, не так: нам казалось, что все мы, сплачиваясь вокруг Свободного, собирая новых и новых студентов, становимся для многих и многих частью благого силового поля.

Много усилий уходит на то, чтобы не стать «закрытым сообществом». Общественная бюрократия в виде внутренней системы контроля и открытых дебатов одним кажется излишеством, а другим — недостаточно радикальным. Анархистам трудно общаться с дисциплинированными законниками, левым — с консерваторами, традиционалистам — с модернистами. У нас нет страха, но есть тревога за каждое наше начинание.

Мы были наивны и не смогли представить себе, что всех нас ждет в начале 2022 года.

DOI: 10.55167/8e888bf46ccb